
Евгений КАМИНСКИЙ

ВГЛУБЬ

Повесть

В марте и вплоть до лета и непременно осенью до первых морозов в городе рождаются, размножаются и живут слухи. Слухи, конечно, можно списать на фантомы в головах горожан, страдающих шизофренией, биполярным расстройством или больных депрессией в период *весеннего и осеннего обострения*. То есть едва ли не всех имеющих в наличии горожан.

Однако нет дыма без огня. Если слухи рождаются, на это, помимо шизофрении и прочих привычных психических расстройств, есть и другие (не медицинские) причины.

Увы, даже психически здоровый человек ждет от жизни чуда.

Хотя чего его ждать, если у тебя уже имеется все, что необходимо для жизни: и прописка в паспорте, и проездной билет, и даже медицинский полис?!

Но нет, человек не готов жить только тем, что у него есть.

Ему непременно необходимо что-то *сверх*. И однажды получив от жизни что-то *сверх* (скажем, тринадцатую зарплату), человек принимает это как должное. И ждет еще чего-то *сверх уже полученного сверх* и, не получая этого, ощущает себя обделенным жизнью и потому — глубоко несчастным.

И этим ноябрем, в канун дня Народного единения, в городе родился и пополз, как эпидемия, слух о том, что в городских подземных коммуникациях завелась нечисть. Гигантские, размером со свинью, крысы, поедающие все, что шевелится: от блохастых кошек до вшивых бомжей. По словам людей, которые *знали это наверняка* и даже *своими глазами это наблюдали*, нечисть, подчистив подземные закрома от кошек и бомжей, взялась за отбившихся от своих бригад путевых обходчиков. Не брезговала нечисть и метростроевцами. Путевые обходчики держались молодцами: отбивались от крыс стальными молотками, а безоружным метростроевцам приходилось схватываться с нечистью в рукопашной. Хотя смешно называть схватку полноценного метростроевца с хвостатой тварью рукопашной.

В медиапространстве все чаще появлялись свидетели подобных схваток. И число этих отчаянных лгунов и ловких провокаторов росло. И это вполне объяснимо: всякая ничего из себя не представляющая личность остро нуждается в общественном внимании, чтобы перестать ощущать себя пустым местом. Потому-то и готова она

Евгений Юрьевич Каминский родился в 1957 году. Поэт, прозаик, переводчик. Автор одиннадцати книг стихотворений и нескольких книг прозы. Публиковался в журналах «Октябрь», «Звезда», «Юность», «Литературная учеба», «Волга», «Урал», «Крещатик», «Дети Ра», «День и ночь», «Плавучий мост», «Зинзивер», «Дружба народов» и других, в альманахах «День поэзии», «Поэзия», в «Литературной газете». Участник поэтических антологий «Поздние петербуржцы», «Строфы века» и многих других. Лауреат премии Гоголя за 2007 год. Лауреат Пятого всероссийского конкурса гражданской лирики им. Некрасова (2021), победитель Четвертого международного Тургеневского фестиваля «Бежин луг» в номинации «Поэзия» (2021). Живет в Санкт-Петербурге.

выступить на громком процессе свидетелем чего-нибудь ледящего кровь. Если же стать свидетелем и выступить на процессе не получается, можно схватить за хлястик прохожего на проспекте и, выкатив для убедительности глаза из орбит, рассказать ему какую-нибудь чудовищную небылицу, при этом свято в нее веря.

Слухи ползли по городу, а то и катились, как снежные шары, обрастая нелепыми, фантастическими подробностями. Именно нелепое и фантастическое вызывает у граждан, не обремененных ежедневным каторжным трудом, сначала пристальный интерес, а потом и горячую веру. Что тут поделаешь?! Человеческой природе свойственны неистребимое желание врать и неиссякаемая потребность верить этому вранью.

Итак, то там, то здесь объявлялись ловкачи с хорошо подвешенным языком, заявлявшие перед камерами о том, что собственными глазами наблюдали настоящий ужас.

Некоторые из ловкачей транслировали ужас прямо со своих телефонов, приглашая зрителя в конце трансляции подписываться на их канал. Все это были лишь инсценировки. Никто из инсценировщиков, конечно же, не верил в туфту с крысами. Однако ж все они отдавали себе отчет в том, насколько падки до сенсаций простодушные люди: будь то продавщицы из «Пятерочки», мотальщицы с фабрики «Большевичка» или же потребители невыносимых, как зубная боль, телесериалов. В общем, все те граждане, что ждут горячих новостей и живут этим ожиданием. И кстати, от которых зависят доходы ловкачей.

В общем, предприимчивые люди — те самые, отказавшиеся работать слесарями на заводе или служить по контракту прапорщиками — если чем-то и занимались в ноябре, то исключительно извлечением прибыли из вранья. Им не требовалось вставать с постели в шесть утра, чтобы уже в семь тридцать быть у токарного станка или у мартеновской печи. Им можно было не знать, что такое корень квадратный из числа, точка росы, критическая масса или месторождение Витватерсранд. И только потому лишь, что они умели убедительно врать.

Многие из них в свое время обучались журналистике, политологии или социологии, формировали свои жизненные принципы на кафедрах философии и права, и поэтому врать для них было не стыдно. Напротив, врать было в какой-то степени престижно. Во все времена у всех племен и народов образованные граждане беззастенчиво вваливали своим необразованным согражданам. И особенно когда отправляли последних на священную войну за престол или бросали в битву за урожай. Те же из образованных, что не желали врать необразованным, во все времена неминуемо становились школьными учителями, земскими врачами и городскими сумасшедшими. Потому что либо ты пользуешься людьми, либо люди тебя используют по полной программе.

Независимый (очень даже зависимый от размера гонорара), скандальный (скандальных теперь принято обзывать креативными) журналист Цветков, сделавший себе имя в девяностые, когда жаждущие справедливости граждане угодили в волчью яму капитализма, но не подозревали об этом и по старой памяти доверялись всякому газетному слову, пробудился в своей постели.

Сколько Цветков себя помнил, он не пользовался чужими услугами и никогда не допускал того, чтобы кто-то его использовал. Даже для достижения каких-то благодородных целей. Но в последнее время Цветков потерял внутри себя ребро жесткости и без особой борьбы уступил этому своему железному принципу. Теперь он без зазрения совести пользовался всевозможными простаками и идеалистами, которым совесть запрещает видеть в тебе подлеца, хотя этот самый подлец лезет из тебя как опара из кадки. Причем пользовался исключительно в личных интересах и не стыдился этого. Почему? Жизнь Цветкова менялась к худшему, Цветкову становилось все

труднее существовать в мире. И в этих изменившихся обстоятельствах подлость, сделанная им ради поддержания собственных штанов, не казалась ему такой уж невыносимой для души пыткой. Особенно если снаружи подлость выглядела не как подлость, а как описка, досадная оговорка или техническое недоразумение.

И несмотря на все эти тактические изменения в его стратегии выживания, последнее время ему, потерявшему всякий стыд, отчаянно не везло, и его жизнь неуклонно менялась к худшему. Все выгодные с точки зрения барышей дела и делишки валились у него из рук.

Еще вчера жизнь, которую он наметил себе на будущее, немного не клеилась, слегка не складывалась и чуть-чуть сопротивлялась Цветкову, считая его, вероятно, еще не вполне подходящим для себя. То есть не вполне законченным подлецом. Сегодня же нечто необходимое для намеченного Цветковым будущего вдруг иссякло в Цветкове. И жизнь, презрительно фыркнув, повернулась к Цветкову задом. И едва только повернулась, в Цветкове зародилась убийственная мысль о том, что он, еще такой зубастый, такой язвительный и моложавый, по сути, уже отработанный материал.

Потому-то все чаще теперь Цветков впадал в отчаяние и безвольно шел в глубь собственной черноты. Шел на самое дно. А чтобы не задохнуться там, *тянул* коктейли по доступным ценам в душевных барах или же стаканами *глушил* горькую в воняющих шалманах. Так ему было легче сознавать себя *живым трупом*. Правда, недолго. Едва опьянение проходило, Цветков вновь умирал. Без воздуха, света и надежды.

За окном висела сырая мгла, и Цветкову не захотелось жить.

Можно было закрыть глаза и не жить, но Цветков вспомнил, что в час дня в промышленном районе его ждет съёмочная группа местного телеканала, которой Цветков обязался рассказать несколько баек из жизни рабочего класса в советское время. Разумеется, перед камерой рассказать.

Цветков никогда не был ни советским рабочим, ни советским мастером или инженером. Он вообще не имел отношения к ручному труду. Ручной труд Цветков презирал, считая его уделом рабов и прочего *биологического мусора*. Но когда-то Цветков весьма прибыльно для кармана обслуживал существующий строй (режим, как теперь выражаются персонажи, что в те времена кормились с его, режима, ладони): был активным агитатором и пропагандистом, писал о советских рабочих, мастерах и инженерах в молодежные издания и, как говорится, знал материал изнутри.

Когда-то, с комсомольским значком на лацкане пиджака, сшитого в ателье за небольшие деньги, в белой нейлоновой рубашке и с черным галстуком на резинке под горлом, он по поручению комсомольских секретарей районного масштаба появлялся у мартиновских печей заводов или на стапелях судостроительных верфей. И там толкал зажигательные речи о непобедимости рабочего класса, о его несокрушимой воле и решающей роли в победе социализма над капитализмом. Толкал с задорным огоньком в глазах и белозубой улыбкой своего в доску паренька. Кстати, теперь Цветков впадал в черную меланхолию всякий раз, когда узнавал о финансовых успехах бывших комсомольских секретарей и инструкторов райкомов, с которыми когда-то имел, казалось, далеко идущие (в плане жизненных благ) отношения. Все эти непримиримые борцы с частной собственностью вообще и с индивидуализмом в частности были теперь сплошь капиталистическими акулами: банкирами, владельцами финансовых корпораций, промышленных гигантов, футбольных или баскетбольных клубов и даже целых телеканалов. И знать ничего не желали о Цветкове, некогда цинично продвигавшем их завиральные идеи в сплоченные рабочие массы.

Конечно, советские рабочие (та самая черная косточка и *несокрушимая воля в борьбе за*), чудом уцелевшие в девяностые, еще дышали в этом городе, и кое-кто из них даже продолжал трудиться у токарных станков, плавильных печей, прокатных станов и стапелей.

Но кто бы из них мог теперь так же ярко, как Цветков, рассказать о тусклой жизни советского рабочего?!

Вот именно — никто.

Ну, помычали бы перед камерой — и все.

Телевизионщикам же в кадре требовался яркий рассказчик с коротким, как выстрел, триллером о ручном труде. И по возможности — известный публике. Или хотя бы узнаваемый. Потому что уже тридцать лет как картинка *правды жизни*, поставленная на телеэкране режиссером, стала важнее самой правды жизни. Ведь картинка, если режиссер, конечно, мастер своего дела, ярка и убедительна. А правда жизни, как правило, тускла и уныла. А за унылую правду начальство по головке не погладит, а то и попросит с вещами на выход. Поскольку зрителю, развалившемуся возле телика в халате и с попкорном за щекой, нужна картинка правды, а не правда, которая давно всех достала и зная которую жить не хочется.

Поэтому-то и пригласили Цветкова.

Побалагурить перед камерой, поострить: поменьше цифр, побольше мимики и позерства. Пригласить-то пригласили, да только денег не посулили, посчитав, что забытый телезрителями Цветков и без денег согласится напомнить о себе. Если не знали это точно, то наверняка чувствовали: Цветков остро нуждается в обретении былой популярности.

И Цветков не заикнулся о гонораре. Понял: заикнешься, и телевизионщики вежливо пошлют тебя подальше и тут же найдут тебе замену. В его теперешнем положении капризничать не приходилось и следовало соглашаться на любую возможность *засветиться...*

Цветков выполз из-под одеяла, встал на ноги, прислушиваясь к пощелкиванию в суставах, откатил пяткой пустую водочную бутылку к стене и направился в ванную оживать.

По утрам смотреть на себя в зеркало Цветкову не хотелось уже несколько лет, поскольку каждое утро оттуда на Цветкова взирало чудовище, морду которого он всякий раз отчаянно пытался облагородить, выскоблив бритвенным станком. Но и к собственной облагороженной морде Цветкову надо было еще целый день привыкать. Хотя, возможно, он и преувеличивал ужас увиденного в зеркале. Ведь никто из граждан на улице от него не шарахался, да и проходящие мимо полицейские не хватались за табельное оружие.

Ни пить, ни есть сейчас Цветкову не хотелось. Хотелось водки. Но водки дома не было. Ни капли. И хорошо, что не было. В противном случае Цветков быстро вошел бы во вкус и уже не появился в назначенном месте врать о том, как тускло жилось советским рабочим во времена застоя.

Цветков стоял в ванной возле зеркала и скоблил щеки затупившимся одноразовым станком. Скоблил и пытался унять дрожь в руках. Увы, он все еще был немного пьян...

Что было вчера?

Сначала позвонила дочь. Цветков совсем забыл о том, что у него есть дочь, та выскочила у него из головы, и последние годы Цветков считал себя бездетным. По-

этому-то когда дочь позвонила ему и сообщила, что собирается послезавтра прибыть на Московский вокзал, чтобы кое-что важное сообщить «папе», Цветков разозлился. Его дочери теперь было чуть за двадцать или что-то около этого. Однажды — несколько лет назад — она, еще подросток, без предупреждения приехала к нему попросить денег, поскольку собиралась уходить от матери на вольные хлеба. Цветков тогда театральнo вывернул перед дочерью пустые карманы (из одного, правда, на пол выпал презерватив, но оба они, и Цветков, и дочь, сделали вид, что не заметили этого) и сообщил, что сам едва сводит концы с концами. Конечно, Цветков солгал. Были у него деньги. Но отдавать их первому встречному, даже если это твоя дочь, он не собирался. Дочь просила немного и лишь на первое время. Говорила, что скоро устроится на работу и будет сама себя обеспечивать, но сейчас ей нужны деньги, чтобы снять комнату, потому что жить с матерью — выше ее сил. Цветков понимающе кивал головой, но так и держал карманы вывернутыми. Так что дочери пришлось обратиться от него несолоно хлебавши.

Она ушла, и Цветков тут же забыл, что у него есть дочь.

И вот теперь она прямо с Московского вокзала собиралась приехать к нему с какими-то новостями.

Любил ли Цветков свою дочь?

Об этом Цветков никогда прежде не задумывался. Но мать своей дочери он никогда не любил. Так случилось, что они встретились в одной из его командировок в какой-то не слишком интеллектуальной компании, немного поговорили, посмеялись, выпили вина и потом зачали ребенка. Вполне естественно и логично. Цветков уехал домой с материалами для статьи, а зачатый ребенок остался в провинции. Спустя год или два мать дочери Цветкова звонила Цветкову, пытаясь убедить его в том, что теперь у него есть дочь. Но Цветков всякий раз начинал грубить матери своей дочери, называл ее провокатором, манипулятором и даже шлюхой и в раздражении бросал трубку.

«Если она опять будет просить деньги, я ее...» — подумал было Цветков о своей дочери, но до конца не додумал.

Ему вдруг стало интересно посмотреть на девушку, которая назвалась его дочерью, даже если она вовсе не его дочь. Еще тогда, когда та приезжала просить у него деньги, что-то ему в ней приглянулось. По крайней мере, задело за живое. И теперь, как ни странно, он ждал встречи с нею и все пытался представить себе свою уже взрослую дочь. Пусть даже та не была его дочерью.

После того звонка дочери Цветков отправился по Невскому проспекту в сторону Литейного. На открытие выставки в тесной художественной галерее.

Выставленные в тот день в галерее полотна показались ему обыкновенной дрянью, даже гадостью, поскольку оставляли в душе впечатление, схожее с впечатлением от увиденной как-то Цветковым «инсталляции» в деревянном домике бесплатного туалета на трассе Санкт-Петербург— Луга.

Итак, полотна показались ему дрянью и гадостью. И потому авторы этих полотен несомненно имели право на шумный успех.

«Чем хуже — тем лучше!» — злопыхал себе под нос Цветков, разглядывая картины.

По его убеждению, на подобных вернисажах уже лет тридцать как речь не шла ни о новых формах, ни тем более о каком-то новом содержании живописного произведения. Важен был лишь эффект, производимый изображением, у которого не было ни формы, ни содержания. В этом эффекте, собственно, и был смысл выставленной в галерее «живописи». И благодарная публика, обычно являвшаяся на подобные вер-

нисажи, величала производителей всех этих бессодержательных эффектов не иначе как гениями.

Цветков никогда в жизни не плыл против течения и не шел один против всех. По-нимал: утопят или шею свернут. Поэтому он вместе со всеми присутствующими на вернисаже, скрестив на груди руки и профессионально прищутив глаз, то и дело застывал на расстоянии двух диагоналей от холста и вполголоса, но так, чтобы все вокруг его слышали, одобрял выставленные работы. Порой даже качал для убедительности головой. Если же чувствовал, что одних слов и жестов недостаточно, шумно вздыхал. Удивительное дело: в каждой из выставленных работ ему удавалось найти что-нибудь чудовищное, а значит, гениальное и заострить на нем (чудовищно гениальном) внимание каким-нибудь парадоксальным высказыванием. Цветков высказывался и при этом скрепя сердце, скрипел зубами. Как тамбовский волк.

Натянуто улыбаясь каждому, кто подходил к нему пожать руку, Цветков ждал фуршет, избегая контактов с гениями. Он боялся, что не сможет сдержаться и скажет кому-нибудь из них что-то обидное или оскорбительное, что уже было готово сорваться у него с языка. А то и врежет *гению* по его вдохновенной морде.

Гении же, не чувствуя опасности, как нарочно, лезли к Цветкову в друзья, скользко улыбаясь ему, словно намекая на что-то постыдное. Каждому из них, конечно, хотелось, чтобы Цветков (а они знали, что перед ними некогда известный журналист) написал о нем в своей газете что-то сногшибательное. Но каждый из них при этом понимал, что бесплатно Цветков писать не станет.

Напряженно улыбающийся Цветков продержался в глухой обороне до фуршета, сдерживая порывающихся сблизиться с ним гениев на ближних подступах.

Собственно, ради фуршета, полагающегося открытию всякой теперешней выставки, он сюда и явился. Во-первых, информированные и приближенные к верхам люди, которым до тебя, конечно, нет дела, крепко выпив, не могут долго держать язык за зубами. И тогда у тебя появляется возможность узнать ценную информацию и воспользоваться ею с выгодой для себя. Во-вторых, приближенные к верхам люди, как правило, остро нуждаются в чем-то необязательном и, возможно, даже предосудительном для нормального (читай: нравственного) человека. И потому могут попросить Цветкова в своей очередной статье сообщить об их никому из граждан не известных добродетелях. О том, как они помогают детям-инвалидам деньгами на лекарство, а детям-сиротам — деньгами на леденцы. Или, скажем, о том, что никогда не отбирали с помощью написанных в девяностые законов имущество у несчастных вдов. Хотя сделать это всегда было так же просто, как улыбнуться читателю с первой полосы многотиражки. Эти люди могли также заказать Цветкову написать о них книгу. Таковую же по формату и наполнению, как книга из серии «Жизнь замечательных людей».

Было такое у Цветкова в карьере: смуглый человек с азиатской внешностью, широкой улыбкой и платиновым «Ролексом» на запястье в ходе какой-то презентации предложил Цветкову написать за двадцать тысяч долларов достоверную (то есть абсолютно лживую) книгу о своем хозяине — владельце нефтяных платформ в Каспийском море. Эту книгу должен был написать сам смуглый человек с «Ролексом» на запястье и широкой улыбкой, но писать художественно и достоверно смуглый человек не умел. К тому же до смерти боялся гнева хозяина. И Цветков, понимая, что если книга хозяину не понравится, то полученные за книгу доллары придется возвращать, а потом еще и прятаться от слуг разгневанного хозяина где-нибудь в Сибири, написал ее. С душевным трепетом и сердечной теплотой, словно о христианском подвижнике. Это, собственно, и требовалось от него. Так что те двадцать тысяч у Цветкова никто не потребовал назад.

В-третьих, он явился сюда погрузиться в некогда привычную для себя атмосферу бесконечного праздника (ну, или пира во время чумы), вновь почувствовать себя кому-то до зарезу необходимым и важным для чего-то грандиозного.

В-четвертых, его всегда интересовали молодые девицы, слетавшиеся на подобные мероприятия, как мухи на липкое. Среди них могла оказаться какая-нибудь провинциалка, ничего не смыслящая ни в живописи, ни в художниках и потому готовая удивляться и плакать от восторга. Простушка, еще не понявшая, что современная живопись для молоденьких девочек — западня. И если такая провинциалка объявилась бы, Цветков готов был сделать все для того, чтобы заинтересовать ее собственной персоной, поймать ее в свою липкую паутину и охмурить. В делах с молоденькими мухами Цветков был матерым пауком. И та, прежде чем разобраться в живописи и разочароваться в Цветкове, скрасила бы последнему хотя бы неделю его беспросветной жизни.

Конечно же, Цветков пообещал организаторам выставки написать статью об этом культурном событии, иначе его просто не пригласили бы на открытие. Написать сочно, парадоксально, как только он один и умеет. А уж там главный редактор пусть сам решит, ставить этот материал в номер или нет. Поскольку время сейчас такое — людям не до вернисажей, не до живописи. И уж точно не до гениальных художников.

«Эх, так бы и дал кому-нибудь из них в морду!»

Однако все это были лишь отговорки. Цветков не любил писать ни о современной живописи, ни о современных художниках, считая их проходимцами. Он и теперь не собирался этого делать. Хотя бы потому, что уже давно не работал ни в одной из газет штатным сотрудником, но везде, где еще не гнали с порога, был на подхвате. Поэтому-то любую его статью или «сенсационное разоблачение» всякий главред мог, не опасаясь повестки в суд, без всяких объяснений, не заплатив ни копейки, отправить в корзину. Более того: Цветков ненавидел современных художников. И особенно в последнее время, когда все они «научились объяснять и продвигать» свое творчество в массы посредством «глубокомысленных рассуждений» и с помощью «философских категорий». Конечно, их философия была фикцией. Но толковалась эта фикция ими с такой уверенностью, с таким апломбом, что всякому сопротивляющемуся этой фикции разумными доводами лучше было помалкивать в тряпочку, чтобы не выглядеть в глазах публики неучем, ретроградом и даже реакционером. Эти мошенники так поднаторели в «объяснении» своего искусства, что всякий раз, начиная в какой-нибудь богемной компании выводить их на чистую воду, Цветков чувствовал себя в глазах окружающих форменным дураком. Хотя дураками были как раз окружающие, с искренним интересом внимавшие мошенникам и охотно верившие их липовой философии.

Да, Цветков ненавидел художников.

Но при этом отчаянно завидовал им.

«Надо было идти в художники, а я в журналисты полез, — частенько иронизировал он, изливая себя у барной стойки первой попавшейся душе. — Но кто ж в восьмидесятые мог знать, как все обернется в девяностые?!»

Он почему-то всерьез полагал, что в нынешние времена добиться успеха в этой сфере (называть работы этих художников графикой или живописью у него язык не поворачивался) ничего не стоит, если, конечно, знаешь все расклады. И еще: если у тебя нет совести.

Цветков считал, что отлично знает современные расклады. К тому же у него не было совести. Вернее, в нем она, как он полагал, уже исчезла за ненадобностью.

Но вот что странно: едва она исчезла, Цветкову сразу стало не хватать денег. Хотя все должно было получиться наоборот.

На открытии этой выставки все было, как всегда.

Приглашенные без устали обсуждали выставленные работы. Порой, выловив из толпы автора какого-нибудь полотна и наложив на него руки, они фотографировались с бессмысленными улыбками от уха до уха. В голос хохотали богемные дамы с лошадиными, непременно раскрашенными, как у клоунов, физиономиями, все, словно новогодние елки, увешанные бижутерией. Чуть в стороне от них шептались раскрасневшиеся студентки: длинные, плоские, с фосфорическими глазами или же приземистые и прочные, как дубовые табуреты, рядом с которыми меринами топтались бодрые старички в усыпанных перхотью вельветовых пиджаках и оранжевых брючках, заляпанных следами прошлых презентаций. Здесь же расхаживал чиновник районной администрации и торчал посреди зала, как шиш на блюде, депутат Законодательного собрания, оппозиционный к власти и потому отчаянно симпатизирующий неофициальному искусству. Особенно если оно в День Конституции раздевается в общественном месте догола, протестуя таким образом против официального искусства.

Да, была еще группа невымытых, небритых, пожилых, обрюзгших мальчиков, среди которых выделялся в голос хохочущий колясочник с атрофированными конечностями, обутыми в невыносимо грязные босоножки детского размера, как показалось Цветкову, уже приросшие к коляске. Почему этот колясочник все время хохотал? Цветков понимал, что таким образом тот защищается от навязчивых сочувственных и даже сострадательных взглядов, отовсюду бросаемых на него. Колясочник не желал быть в глазах этих вполне равнодушных к нему людей несчастным калекой. Он не нуждался в их сострадании, поскольку оно было мимолетным и не стоило всем этим «сочувствующим» никаких душевных переживаний.

Обрюзгшие мальчики отчаянно пытались выглядеть здесь молодцами. К тому же — неформальными лидерами, за которыми будущее и эпохи в целом, и искусства в частности, полагая, что являются чем-то новым, передовым и свежим. На самом же деле откровенно попахивая залежалым и давно просроченным товаром. Все они были в вызывающе кричащих одеждах (длинные желтые шарфы, куртки-косухи с металлическими шипами, рваные джинсы и пудовые башмаки с высокими берцами у тех, у кого ноги еще ходили) и наверняка явились сюда с намерением подраться с кем-нибудь в кровь.

Среди этих невымытых и небритых то и дело мелькала чешуей какая-то «сеledка» — типичная представительница того типа девиц, которые, начав однажды бурно созреть, зреют nepозволительно долго. И наконец созрев, оказываются уже перезрелыми, а значит, ни на что романтическое не годными и никому для счастья не нужны. Уже в девятом классе сеledки вдруг перестают быть паиньками: красятся как индейцы, одеваются как привокзальные проститутки, бьют на шею и лице тату и плюют на оценки в четверти. Но это еще не все. Отличникам по физике они предпочитают двоечников с отличными физическими данными. И это несмотря на то, что последние — опасны для жизни. Сеledки грубят отцам, посылают матерей и уходят из дома на вольные хлеба в компании со вчерашними второгодниками, промышленляющими в темных переулках разбоем, а в универсамах — воровством. Или же сразу после окончания школы прибиваются к уличным музыкантам, как чайки к мусорным свалкам, видя в каждом нелепом барабанщике будущую поп-звезду. Это они, с напускным весельем протягивая шарахающимся от них гражданам грязную фетровую шляпу, просят

деньги за исполнение прыщавыми рэперами бессмыслицы собственного сочинения. Это они довольно быстро научаются курить травку, сквернословить и спариваться с прыщавыми рэперами в первом же попавшемся на пути чердаке или подвале, чтобы сначала захиреть, а потом и неизлечимо заболеть...

Всюду текли разговоры о современном искусстве, которое, как злобствовал внутри себя Цветков, никакое не искусство, а лишь средство засветиться, прогнать, заработать шумную славу.

Присутствовала на открытии и бригада телевизионщиков.

Цветков поначалу крепился, задрал подбородок и посмеиваясь над суетой телеоператора, никак не могущего найти нужный ракурс для освещения этого культурного события. Но почувствовав, что время уходит, Цветков начал дефилировать под носом у оператора, время от времени попадая в объектив камеры и надеясь, что оператор вдруг воскликнет: «А, Цветков! Тебя-то, старина, нам и не хватает для освещения этого грандиозного события!» Оператор, однако, упорно не замечал Цветкова, занимаясь исключительно молодыми гениями.

И Цветкову пришлось потянуть одеяло на себя.

Когда начались приветственные речи к участникам мероприятия, он незапланированно вызвался сказать *свое слово* представителям новой волны в живописи. И не слушая возражений организаторов вернисажа, прорвался к микрофону. Организаторы с плохо скрываемой злобой на лицах не стали крутить Цветкову руки и позволили ему сказать свое слово, но только чтоб недолго и без эксцессов.

И Цветков уложился в «недолго». При этом сказал сочно, парадоксально, с огоньком, как он всегда умел. Так сказал, что телевизионщики, оценив остроумие Цветкова, решили наконец обратить на него внимание и взяли у него короткое интервью. Словно Цветков был маститым искусствоведем или критиком, а не пройдошливым репортером. Цветков старался понравиться телевизионщикам и понравился им чрезвычайно. И те, возможно, неожиданно для самих себя пригласили Цветкова завтра днем поучаствовать в съемках очередной серии, посвященной ленинградской промышленности.

«О чем надо будет тиснуть роман?» — с обворожительной улыбкой поинтересовался у телевизионщиков Цветков, позаимствовав для этой своей фразы пару словечек из лагерного лексикона. Он уже выполнил тут программу-минимум — попал на экран — и потому был отчаянно весел.

«О рабочем классе», — был ответ.

«Вам повезло! — хохотнул Цветков. — Лучше меня рабочий класс знал только Максим Горький!»

Где-то на пике веселья, когда телевизионщики, собрав свою аппаратуру, собирались покинуть вернисаж, к ним подскочил один из гениев, которыми сегодня восхищались.

Телевизионщики попробовали пройти мимо напористого гения, но тот, без остановки улыбающийся, уверенный в себе, что-то нашептал им, вытаращив глаза для убедительности, и телевизионщики сделали стойку, обратившись в слух.

Краем глаза наблюдавший за этой сценкой Цветков злобно посмеивался в свой пластиковый стаканчик с дешевым вином.

Напористого гения звали Дима Ципкин.

По мнению Цветкова, это был самый ничтожный по форме, самый пустой по содержанию, в общем, самый дрянной из всех выставленных сегодня в этой галерее дрянных художников. А значит, самый гениальный.

Дима Ципкин всегда был чрезвычайно предприимчивым индивидуумом. Если бы он родился лет на тридцать раньше, то наверняка мухлевал бы всю свою жизнь в мясном отделе гастронома или приворовывал на овощной базе. Если б, конечно, не додумался сделать из собственной квартиры притон для карточных игр или стать членом КПСС: лезть вон из кожи на партийных собраниях, топить оступившихся, клеймить несправившихся, чтобы когда-нибудь выбиться наверх и засесть в каком-нибудь «хлебном» отделе райкома или даже горкома партии. Ну, и непременно (это уж как водится) Ципкин отсидел бы свои пять-шесть лет в колонии общего режима за махинации с левым мясом, гнилыми овощами или же за какое-нибудь вопиющее отклонение от генеральной линии партии с материальной выгодой для себя. Тут уж деваться некуда.

Но Ципкину повезло выйти во взрослую жизнь при уже наступившей в стране демократии и падении «железного занавеса», когда всякий простодушно верящий в справедливость человек мог запросто задохнуться наступившей свободой. Но только не такой свободолобивый юноша, как Ципкин.

Пока в стране крепла демократия, орудя финансовыми пирамидами, целителями-экстрасенсами, а то и пыльным мешком из-за угла, Ципкин не дремал. Чутко следя изменениям политической конъюнктуры, он появлялся всегда в тех местах, где намечался грандиозный скандал и где можно было без всякого ущерба для себя... *попасть под лошадь*. А уже оттуда — на экран телевизора или на первую полосу газеты. Одним словом, Ципкин неустанно набирал очки в соревновании с другими подобными себе энергичными молодыми людьми за право в скором времени стать народным избранником. Однако в депутаты Ципкину пролезть не удалось. Что-то нужное он, по-видимому, упустил и чего-то важного не предусмотрел. Хотя депутат из него вышел бы отменный. Вышел бы, даже несмотря на то, что ничего всерьез в этой жизни Ципкин не умел и ничему подлинному не желал учиться. Поскольку все, что Ципкину требовалось от жизни, он мог раздобыть, пользуясь нехитрым обманом и своей располагающей внешностью воровки на доверии.

В нулевые Дима еще не имел теперешнего аккуратного брюшка буржуа и потому по вечерам за деньги раздевался в стриптиз-баре. Ночью в том же баре он продавал клиентам «кислоту», а днем, после короткого, как выстрел, сна — в тесном офисе бизнес-центра Всеволожского района таунхаусы без подведенных к ним коммуникаций, о чем он (с выгодой для себя) забывал сообщить клиентам при продаже. Также он предлагал гражданам туры на *берега Килиманджаро*, а поездам дальнего следования — бутилированную воду из-под водопроводного крана. И всякий раз успевал сорвать-ся со своего хлебного, но *стремного* места до прибытия группы захвата, залечь на дно и спрятать концы в воду.

Однако нулевые миновали, и Дима Ципкин, утративший молниеносную реакцию и спринтерскую скорость, стал раздумывать о том, что пришло время сдаваться времени на милость: становиться если не помощником депутата, то хотя бы председателем домкома со всеми вытекающими в виде соблазнительных возможностей последствиями. Он бы с удовольствием стал опекуном какой-нибудь сумасшедшей старухи с отдельной квартирой в центре города. Но подобные старухи обычно не могут вспомнить и перечислить всех своих родственников, и потому у любого опекуна такой старухи, даже со всеми необходимыми бумагами на руках, обязательно найдутся конкуренты на старухину площадь после того, как та станет прахом и отправится в колумбарий. Ципкин бы даже стал адвокатом — эта специальность казалась ему наиболее перспективной на вступившим в силу историческом этапе очередного переде-

ла собственности. Но у Ципкина не было юридического образования, а стать адвокатом без специального образования представлялось ему весьма затруднительным, хотя и вполне возможным. Особенно в те захватывающие времена.

Но тут неожиданно настали самые что ни на есть ципкинские времена, когда наиболее востребованным качеством производительных сил в производственных отношениях сделалось отсутствие морали и нравственных принципов.

И Дима передумал сдаваться на милость времени, примкнув к группе художников акционистов.

Боже, что творила эта группа!

Какие впечатляющие инсталляции, какие запоминающиеся перформансы она устраивала! И во всех этих акциях Ципкин проявил себя *художником от Бога* (так, не стесняясь еще живых членов Союза художников СССР, писали о нем тогда прогрессивные журналисты).

Не хочется перечислять весь список его достижений. Напомню лишь некоторые. Прогулка по Большому проспекту Васильевского острова гольшом, правда, вымазанным в тавоте и вываленным в куриных перьях; распятие самого себя на дверях городского Законодательного собрания; соитие с чугунным вождем мирового пролетариата, стоящим на постаменте во дворе одной из городских больниц прямо перед действующей часовней...

А вот отрезать себе кусок пениса перед телекамерой одновременно с остальными членами группы акционистов Ципкин так и не решился. И ему пришлось с позором покинуть группу.

Из группы художников Ципкин ушел, но не ушел из художников.

Если у тебя есть громкое имя и шумная слава, то, ей-богу, не бросать же все это коту под хвост?!

И Ципкин остался в изобразительном искусстве. Правда, посчитал, что безопасней всего для него теперь будет объявить себя абстракционистом. Он и не сомневался в том, что обладателю громкого имени и шумной славы в искусстве особо не нужен талант. И ничего по большому счету не надо уметь. Делай, что бог на душу положит, а уж почтенная публика сама объявит это гениальным и объяснит тебе, что именно ты хотел сказать миру своей абстракцией.

Ципкин был пустым человеком и таким же пустым во всех отношениях художником. В том смысле, что его творения не содержали ни единой мысли и никакой идеи, совсем как кашки, размазанные младенцем по полу, или пятна крови на фартуке хозяйки, отрубившей голову петуху.

Но как раз в этой пустоте и было преимущество Ципкина перед его коллегами по цеху. Те обычно намеревались своими работами хоть что-то сообщить, выразить нечто личное, пусть и болезненно искривленное, и потому наполняли (или полагали, что наполняют) свои полотна содержанием. Пусть и не всегда доступным человеческому пониманию. Внутри подобных картин зрителям было тесновато. Потому-то и мало кто из ценителей прекрасного мог втиснуть в них личную трактовку увиденного. Да и просунуть лезвие критики меж глыбами циклопической кладки авторского замысла было порой просто невозможно.

А у ципкинских картин внутри звенела оглушительная пустота.

И всякий ценитель (а ценитель — человек самолюбивый) мог в соответствии со своими эстетическими предпочтениями и политическими воззрениями наполнить ципкинскую пустоту своим собственным видением — снабдить творение Ципкина тем смыслом, которого в нем нет и в помине. И всем было хорошо: и Ципкину, бессодер-

жательную мазню которого снабдили остроумным содержанием, и ценителю, который даже такому бессмысленному ничтожеству, как Ципкин, мог от своего широкого сердца подарить смысл.

На этом вернисаже Ципкин выставил свою новую работу «Яма».

На куске картона была намалевана огромная клякса, чернота которой сгушалась от верхнего края к нижнему.

И более ничего.

Яма, черная и, вероятно, бездонная.

Публика стояла возле «Ямы», шумно вздыхая, мол, вот молодчина, предъявил нам нашу беспросветную жизнь. Или же: «Ах, как убедительно Ципкин ткнул нас носом в нашу действительность». И наконец: «Нет, так убийственно точно может высказываться только подлинный гений!»

Назвать кусок картона с грязной кляксой «Ямой», намекая на действительность, в которой обитают все тонкие и гордые ценители прекрасного *в этой стране* (так говорил Ципкин с тех самых пор, как уразумел, что только так и должно говорить о своей родине гению, если тот, конечно, хочет, чтобы о нем писали в Европе), Ципкина надоумил владелец заведения — стреляный воробей, знающий толк *в успехе*.

«Яма» была очередной ципкинской провокацией, побуждающей *знатока* философствовать на пустом месте.

Улыбающийся Ципкин стоял возле своей «Ямы» и раздавал комментарии. Несколько раз к нему подходили одутловатые и расхристанные неформалы и довольно агрессивно наускаивали на него, в чем-то его обвиняя. А разнузданно хохочущий колясочник даже наехал колесом на его правую ступню, так что Ципкин взвыл. Однако это был лишь эпизод. В основном же в этом противостоянии с неформалами Ципкин держался молодцом: отшучивался, категорически не принимая всерьез все их наускаивания и обвинения в свой адрес.

И Цветкову вдруг пришло в голову, что эти расхристанные — те самые акционисты, к которым когда-то примыкал Ципкин. Те самые, что отрезали себе по куску пениса. И колясочник, видимо, тоже отрезал. «Ему-то зачем это понадобилось?! Хотя что не сделаешь за компанию!» — злопыхал Цветков. Возможно, они сегодня требовали от Ципкина немедленного исполнения обещания, данного им когда-то, отрезать себе то же самое.

Цветкову даже показалось, что он разобрал на губах одного из них обращенное к Ципкину: «Когда отрежешь?»

Разумеется, ничего подобного Цветков не мог слышать, поскольку находился на значительном от Ципкина расстоянии.

Ципкин же мужественно смеялся в лицо акционистам и наверняка ссылался на то обстоятельство, что перерос радикальный акционизм и перешел в чистое искусство, где то, от чего надо отрезать кусок, ему еще очень даже понадобится целиком.

Очень может быть, что изнемогавший от ненависти к Ципкину Цветков все это придумал. Ему казалось, что никто из присутствующих не видит и не понимает, какой отъявленный мошенник этот Ципкин, что все присутствующие на открытии вернисажа или безнадёжные простаки, или восторженные идиоты.

Наконец, театрально всплеснув руками и нарочито громко рассмеявшись (тут все невольно смолкли, помутневшими взорами ища в зале источник этого смеха), Ципкин отлепился от телевизионщиков. Удовлетворенный результатом общения, он растворился в толпе, бархатно после выпитого вина гудящей в окружающее пространство.

— Вот гаденыш! — воскликнул Цветков, восхищенный такой безупречной игрой на публику.

И вдруг увидел то, что весь вечер подсознательно искал.

Улыбающуюся ему почти юную девицу (в этот час в этом месте все присутствующие женщины казались Цветкову юными, разумеется, за исключением крашенных кобыл, обвешанных бижутерией), смотревшую на все вокруг благодарными, широко открытыми глазами. Словно шла в жилконтору, а пришла в эдемский сад.

Это была та самая селедка с фосфорическими глазами, заявившаяся на открытие выставки в компании пожилых мальчиков-неформалов. Похоже, селедка была всамделишной провинциалкой, только недавно примкнувшей к немытым и небритым неформалам, поскольку лицо ее было еще весьма свежо, одежда довольно неприметна, а движения не настолько изломаны, чтобы посчитать ее представительницей богемы или просто шлюхой.

Кажется, никто из присутствующих к этой селедке до сих пор толком не приклеился. Да и неформалов, огненные взоры которых были все время обращены на Ципкина, она, похоже, не очень интересовала.

И Цветков бросился к селедке. И слово за слово, улыбочка за улыбочкой, присосался к ней, как клоп, впился в нее, как клещ, опутал соблазнительными речами, как паук.

Дело было на мази, но селедку нежданно-негаданно увел из-под самого носа Цветкова... негодяй Ципкин.

Как уж ему, находящемуся под прицелами пожилых мальчиков, это удалось, трудно сказать. Но улучив момент, Ципкин вышел у Цветкова из-за спины, решительно отодвинул Цветкова в сторону, и провинциалка с радостью пала на грудь Ципкину. При этом она вполне заговорщически улыбнулась Цветкову, словно тот должен был понимать и одобрять ее намерение отдаться сегодня гению, а не какому-то соблазнительному пауку.

Что ж, эта селедка, пожалуй, понимала, что в жизни к чему: Ципкин на вернисаже был одним из ферзей, а Цветков всего лишь пешкой, хотя и проходной...

Все же Цветков опоздал в промышленный район на съемку. На целых полчаса опоздал.

Телевизионщики — дама-режиссер и оператор — все эти полчаса поносили Цветкова, полагая, что зря связались с *этим алкашом*. Правда, вслед за съемками Цветкова телевизионщики планировали снимать еще один сюжет — с Димой Ципкиным. Тот вчера соблазнил телевизионщиков фотографией гигантской крысы на своем смартфоне: в кадре было зафиксировано нечто размытое, напоминающее свинью с длинным хвостом.

В подземных чудовищ телевизионщики не верили. Однако подобный сюжет со скандальным художником в роли свидетеля такой небывальщины мог повеселить зрителей. В общем, из Ципкина и крысы-людоеда можно было состряпать вполне одобряемое блюдо для широких масс.

Поэтому-то приковылявшему к месту встречи Цветкову удалось еще застать телевизионщиков на месте и особо не растрчивать свое душевное тепло, для того чтобы растопить лед недовольства, которым обросли телевизионщики за время простоя.

Цветков перед камерой превзошел себя.

За время своего не более чем десятиминутного выступления на фоне заводских корпусов он изложил жизнь и судьбу усредненного человека труда времен развитого

социализма. Изложил и уничтожил этого самого человека. Мол, что еще заслуживают люди, у которых мораль когда-то ценилась выше квартальной премии, а честь была важнее бесплатной путевки в Гагру?!

Именно это и требовалось от него сегодня.

И все же в этом его искрометном скетче было что-то тошнотворное для самого Цветкова.

Конечно, он никогда не уважал трудовых людей, всех этих токарей, слесарей, сталеваров, проходчиков, стропальщиков, вальцовщиков и прочих. Не уважал и не понимал их. Но в том, что эти люди делали всю свою жизнь, было нечто жизненно важное, подлинное, настоящее, может, и невидимое постороннему глазу, но необходимое всем без исключения, даже Цветкову. И эта правда давила Цветкову на психику.

Потом появился Ципкин. Неожиданно для Цветкова.

Осторожно улыбающийся, что-то явно предвкушающий, но и достаточно напряженный, чтобы в любое мгновение отразить внезапное нападение. Откуда нападение? Да хотя бы со стороны Цветкова.

Похоже, ничего, кроме финансовой выгоды от предстоящего предприятия, не предвкушал сейчас этот предприимчивый человек, этот «гребаный», по словам Цветкова, *художник современности*.

Цветков исподлобья взирал на Ципкина. И чтобы не сорваться, не сказать в адрес Ципкина нечто такое, что потом невозможно будет исправить, скрыть или как-то заретушировать, вытянул из кармана фляжку с дурным коньяком и сделал глоток.

«Наверняка он здесь с какой-то очередной сенсацией, — мысленно злопыхал Цветков. — Умеют эти Ципкины подлить масла в огонь. Только подпусти их к объективу телевизионной камеры, и они мамы родной не пожалеют. Да и вскормившую их родину продадут за тридцать сребреников...»

На Ципкине были костюм охотника из спортивного магазина, черные шнурованные ботинки, вязаная шапочка.

«А на груди под одеждой наверняка скрытая камера с объективом вместо пуговицы, — продолжал фантазировать Цветков, уже довольно пьяный. — Зачем ему камера? А черт его знает. Но — наверняка она там».

После кратких переговоров с телевизионщиками Ципкин принялся под камеру излагать *свое сенсационное*. Начал он издалека, с того, что крысы во все времена жили в подвалах этого города.

«А где им еще жить, — ухмылялся Цветков, слушая Ципкина, — если на улицах для них нет жизни?! Если всякий пражский крысарик, фокстерьер или такса спят и видят, как бы им сначала затравить грызуна, а потом и задушить его...»

Да, продолжал Ципкин, жили и до последнего времени держали себя в рамках: как им и полагается, питались отбросами. Но в этом году переродились: из жалких падальщиков превратились в грозных людоедов.

Крыса-людоед размером со свинью в изложении Ципкина была художественным преувеличением, которое, однако, позволено художнику во все времена.

Телевизионщики не прерывали Ципкина, поскольку знали главное: на крысу-людоеда в обществе давно созрел заказ. И значит, Ципкин со своим враньем как нельзя кстати.

Цветков пьяно ухмылялся за спинами телевизионщиков и уже готов был гомерически хохотать.

«В чем, собственно, заключается миссия современного художника? — изливал свой фирменный яд мозг Цветкова. — В том, чтобы молниеносно реагировать на за-

просы обывателя в области индустрии развлечений (разве перформанс акциониста не развлечение для публики?!) и всемерно их удовлетворять. Теперь этот гад предложит пойти посмотреть крысу в каком-нибудь ближайшем подвале. Откуда он ее возьмет? Да извлекает в перьях ту самую селедку, что вчера увел у меня. Она на него бросятся, а он завопит от ужаса. И все останутся довольны: Ципкину слава, а публике *развлекуха*. Даже если эта его крыса всего лишь обыкновенная селедка под шубой...»

И все же Цветков ошибся.

Послушав несколько минут Ципкина, он с удивлением отметил, что Ципкин, кажется, впервые осмелился обрушиться на режим. Причем *всем своим талантом*. Нет, конечно, не пойти на режим в лобовую атаку, не сразиться с ним в рукопашной схватке, что равносильно выстрелу себе в голову, но все же прокукарекать — намекнуть на свою *гражданскую позицию*, так сказать, просигнализировать общественности о том, что свобода для Ципкина — главная ценность и смысл его уникальной жизни.

Одним словом, Ципкин вдруг понес такое, что в среде творческих работников принято считать *хорошим тоном*. Ципкин заявил, что слом существующего мирового порядка в целом и политическая обстановка в стране, в частности, породили в подземельях культурной столицы крыс-гигантов, для которых не существует ничего святого.

Ципкин произносил совершенно новые, прежде неведомые в его лексиконе слова, высказывал прежде не свойственные ему мысли и при этом смотрел в камеру без своей привычной иезуитской ухмылки, но с самоотверженностью страстотерпца. Конечно, ципкинская крыса была лишь аллегорией, с помощью которой тот иллюстрировал суть существующего в *этой стране* (так словно невзначай говорил Ципкин) порядка. При этом Ципкину удавалось не переходить рамки, за которыми подобного борца за свободу могут пригласить повесткой в тихий кабинет и потребовать от него там подписку о невыезде.

Цветков оценил предприимчивость Ципкина. Последний выбрал подходящий момент для перформанса. Ведь свободолюбцев, которые клеймили существующий режим, становилось все больше, и ничего им за это не было: жили себе, поживали да еще *добра* наживали. Но если им — ничего за свободомыслие и бескомпромиссность, то, может, и Ципкину также ничего за то же самое?

— Вот гаденыш! — довольно громко произнес Цветков и вспомнил, как вчера на открытии вернисажа Ципкин пытался охмурить его: вытянуть из него обещание написать о ципкинской «Яме» что-нибудь возвышенное. Но Цветков лишь скрипел вчера зубами и стоял насмерть, отказываясь писать о «Яме» возвышенное. Потом, уже изрядно выпив, Ципкин спрятался за Цветкова, ведущего диалог с телевизионщиками. Цветков чувствовал за спиной дыхание Ципкина и негодовал. Знал, что этого ловкача всегда тянет поближе к средствам массовой информации, где можно почти даром получить еще двести граммов известности.

Ципкин же, стоя тогда за спиной Цветкова, думал о том, что говорить о чем-то перед телекамерой должен не какой-то никому не нужный теперь Цветков, лишь по недоразумению попавший телевизионщикам под руку, а он, Ципкин, гениальный и востребованный. Ципкин понимал, что Цветков, конечно, знает материал и умеет его подать, но все равно рассуждать о чем бы то ни было перед камерой должен не прошлый человек, а востребованный временем властитель дум. И совсем неважно, о чем именно. Важно лишь то, что рассуждать будет именно он!

Ципкин был из разряда людей, ничего и никогда в своей жизни всерьез не обдумывающих, полагающих, что пока они будут думать, время уйдет. А с ним и выго-

да. И потому действовал он, частенько следуя внезапному порыву, с наскока и даже не успев испугаться. В этом, считал Ципкин, был отчасти залог его успеха. И ведь по сию пору он был жив и здоров.

Закончив говорить на камеру, Ципкин стряхнул с лица маску непримиримого страстотерпца, обнажив свою привычную иезуитскую улыбочку.

— А теперь самое главное, господа. Не желаете ли прогуляться до этих самых крыс? Тут недалеко. И вас я тоже приглашаю! — неожиданно обратился он к Цветкову.

Цветков хмыкнул и собрался уже послать Ципкина, но передумал.

У него возник план: он решил стать разоблачителем этого любимца публики.

— С удовольствием! Но, Ципкин, если вы решили сделать из нас дураков, ответите по законам военного времени, — воскликнул Цветков и захохотал, совсем как Мефистофель из оперы Гуно.

Несколько озадаченный, явно не рассчитывавший получить согласие Цветкова, но вдруг получивший его, а с ним и определенную проблему для себя (так хотелось сейчас думать Цветкову!), Ципкин повел всю компанию к одному из мертвых кварталов промышленного района, находящемуся недалеко от залива. Квартал предназначался для городской застройки и уже давно дожидался инвестора, разваливаясь на кирпичи и бетонные блоки.

Для начала Ципкин откинул створку железных ворот, рядом с которой валялся замок со сломанной дужкой. Миновав ржавые ворота, все они прошли проходной двор расселенного дома, потом вновь проникли за железные ворота, которым городские службы наивно пытались перекрыть проход в следующий двор, больше похожий на лунную поверхность. Наконец подошли к небольшому насыпному посреди двора валу. На одной стороне вала обнаружилась металлическая дверь с зарешеченным окошком, за которым таилась мертвая тишина.

— Там, наверное, темно? — сморщилась дама-режиссер.

— Тускловато, конечно, но все, что нужно, увидим, — бодро произнес Ципкин. — Только вот там кое-где вода по щиколотку.

— Я не пойду, у меня ноги промокнул, — произнесла дама-режиссер. — И тебе, Стас, не советую, — обратилась она к оператору.

— У меня сапоги непромокаемые. Так что можно попробовать, — сказал Стас и кивнул Ципкину.

— Что пробовать-то? — воскликнула дама-режиссер. — Какие крысы? Ципкин наговорил всякой ерунды, а ты и уши развесил.

— А все же стоит попробовать, — не унимался оператор. — Интересно будет услышать, что скажет господин Ципкин, если мы не встретим там его крысу.

— Цветков, вы с нами? Или вам боязно? — улыбающийся Ципкин воззрился на Цветкова, явно подначивая его.

Похоже, Ципкин справился с опасениями, возникшими у него насчет пьяного Цветкова. Или же у него был заготовлен какой-то план действий.

— С вами, с вами. Кто-то же должен вывести Ципкина на чистую воду, — усмехнулся Цветков.

Ципкин извлек из своего рюкзака строительную каску с закрепленной на ней аккумуляторной лампой и отворил железную дверцу, сразу за которой открылись ступени, ведущие вниз.

— Может, сегодня повезет, и мы их встретим. Держимся вместе, — скомандовал Ципкин и извлек из своего рюкзака тесак, похожий на мачете. — Не бойтесь, я с вами! — И Ципкин засмеялся.

«Обещает показать крысу. Значит, кто-то нас действительно ждет там. Действительно та самая селедка? А ведь очень может быть. Скажем, думал Ципкин полночи о том, где взять крысу для перформанса, смотрел на посапывающую рядом размякшую от пьяной любви селедку, потом ткнул ее локтем в бок: „Хочешь стать звездой?“ — „Хочу, — наверняка ответила та. — Только как?“ — „Будешь у меня крысой...“ Она сейчас наверняка там, под землей, голая, вываленная в перьях и *с хвостом назад*,...»

Дальше *хвоста назад* фантазия Цветкова не шла.

Спустившись по бетонным ступеням, они некоторое время шли какими-то узкими коридорами, а кое-где буквально протискивались сквозь тесные лазы. И потому их одежда была уже порядком испачкана ржавчиной и мелом.

Шедший впереди Ципкин то и дело оборачивался и светил своей лампой в лица Цветкову и оператору. Крыс не наблюдалось: ни диких, ни человеческий рост, ни обычных городских, с голыми хвостами. Ни Цветков, ни оператор не верили Ципкину. Однако они шли за ним, вглядываясь в полумрак.

Почему шли?

Может, потому, что надеялись на то, что из-за очередного поворота выскочит крыса и вопьется в идущего впереди Ципкина. Цветкову этого очень бы хотелось, и ради этого он мог идти сколь угодно долго.

И опять Цветков думал о видеокамере, спрятанной на груди Ципкина. Наверняка она там. Но зачем? Как зачем?! Чтобы снять ролик с участием Цветкова, который бы выставил Цветкова в самом комичном виде! Но зачем Ципкину Цветков в комичном виде? А чтобы шантажировать Цветкова и заставить написать о Ципкине что-то нужное Ципкину в газету или журнал. Но нет, этого Ципкину наверняка мало. Наверняка он хочет, чтобы крыса, та самая селедка под шубой, впилась зубами ему в руку. Но зачем? А затем, чтобы Ципкин потом всюду появлялся с перевязанной рукой, тем самым подогревая у публики интерес к себе...

Вот такая чушь лезла в голову пьяному Цветкову.

Возможно, у Ципкина не было никакого плана и скрытой камеры на груди, и Ципкин просто валял дурака, надеясь, что Цветкову и оператору когда-то надоест бродить под землей по сырым коридорам и они пойдут на попятный. И Ципкин не ошибся. Правда, только наполовину: оператор, матерясь себе под нос, дал задний ход, но Цветков остался; шел позади Ципкина, молча наливаясь жаждой мщения и еще чем-то опасным для Ципкина.

— Может, вернемся? — неожиданно обратился Ципкин к Цветкову. — Сегодня нам не фартит.

— Нет, идем дальше, вглубь! — Цветков был настроен решительно. — До тех пор, пока не найдем ваших крыс, Ципкин. Если же не найдем, вам придется за это ответить.

Цветков понимал, что прижал Ципкина и тот сейчас мучительно ищет выход из создавшейся ситуации.

— Ну, пошли, — вздохнул Ципкин и, кисло улыбнувшись Цветкову, зашлепал сапогами по гнилой воде, чувствуя тяжесть собственного тела. — Вглубь так вглубь...

И они отправились вглубь.

Пьяный Цветков смотрел в спину Ципкину и потирал ладони. Чувствовал, что Ципкин отчаянно трусит. Наверняка того ни разу в жизни не били всерьез. И небитый Ципкин вполне допускаял, что его сейчас может избить пьяный Цветков, которо-

му за это ничего не будет, поскольку свидетелей нет. Ципкин был готов уже тихонечко заскулить и, опустившись на колени, просить у Цветкова прощения за этот свой неудачный розыгрыш...

Цветков шагал по коридору, удивленно озираясь по сторонам, и ему казалось, что он только что проснулся. Выходит, он спал прямо на ногах, как лошадь?

Цветков пощупал руками свою одежду — одежда была сухой. Но ведь несколько секунд назад он упал на цементный пол, где стояла вода по щиколотку...

Почему упал?

Запнулся за лежавшую на полу змею электрокабеля, потом, пытаясь подняться на ноги, ненароком схватился за эту змею, и тут же перед его глазами вспыхнул ослепительно-белый шар. Потом грянул гром. По крайней мере, в его ушах грянул. Во рту стало кисло. Цветкова передернуло, едва не вывернув наизнанку. И он опять упал. Только на этот раз навзничь, ударившись затылком о пол.

А что было потом?

Ничего не было. Просто он вдруг осознал, что идет по коридору, освещенному тусклым светом. Идет, не понимая, куда и зачем идет.

Цветков на ходу ощупывал себя: шишка на затылке не обнаружилась. И вообще он не испытывал никаких болезненных ощущений. Вот и его одежда оказалась сухой.

Одежда... Куртка, которая была на нем, пропала. И шапка на искусственном меху тоже исчезла! Ладно, оставил их там, где упал. Наверное, были насквозь сырыми. Но бумажник с карточками, который лежал в кармане куртки? Цветков остановился и в волнении принялся хлопать себя по карманам. Бумажник обнаружился во внутреннем кармане пиджака.

Фу-у!

Но пиджак? Откуда пиджак?

Последние двадцать лет он не носил пиджаков.

Его взгляд упал вниз, на ноги.

Разве он вышел сегодня из дому в черных лакированных туфлях?

Это были те самые туфли, которые Цветков приобрел еще в начале девяностых, чтобы в них брать интервью у плодившихся тогда, как опята на гнилушке, успешных персонажей эпохи. Цветков полагал, что в лакированных туфлях он хоть немного будет своим для всех этих персонажей.

Как наивен он был тогда! Хотя вовсе не наивен, а довольно циничен. И всегда прекрасно понимал, что за птица перед ним. И ни одного из тех, у кого брал интервью, о ком писал в исключительных тонах, не уважал, но презирал и тихо ненавидел. Всех без исключения. И в беседе издевался над ними, но достаточно тонко, чтобы они, с их ограниченными мозгами, с их дурным воспитанием, не могли этого понять. Презирал их, ненавидел, но и, к досаде, завидовал им всем без исключения.

О, эти лакированные туфли!

Поначалу Цветков только приглядывался к таким на ногах успешных людей и в витринах обувных магазинов. Ему было бы странно пройтись в них по улице. Это было бы пошло и нелепо. И даже стыдно. Как если бы он прошелся по Невскому проспекту под руку с известной всей округе проституткой. Но другие-то спокойно ходили в лакированных, и никто не считал, что выглядит в них нелепо, и никому не было стыдно.

Цветков некоторое время колебался, нужны ли ему лакированные туфли. Но потом, делая вид, что не совершает ничего противоестественного, приобрел их.

Он полагал, что те туфли из Парижа. Ну, или хотя бы из Европы. Но туфли оказались из подвальной фабрики Хачика с Апраксина двора.

«Армянский самопал», — заявили ему знающие люди и беззлобно посмеялись над Цветковым, который полагал, что приобрел нечто фирменное.

Но именно это обстоятельство успокоило тогда Цветкова. Убедило его в том, что в этих лакированных туфлях он не будет нелепым или пошлым, поскольку лакированные туфли — один из символов исторических перемен, поскольку даже Хачик с Апраксина двора теперь их тачает...

«Что ж, пусть будут лакированные», — подумал сейчас Цветков, не вполне понимая, зачем надел эти туфли сегодня и, главное, где откопал их в своей небольшой квартире.

Он шел по слабо освещенному коридору, менявшему направление или пересекавшему другой коридор, такой же бесконечно длинный. То и дело на пути встречались металлические двери, ведущие в какие-то помещения. Многие из дверей оказались не заперты, а некоторые и вовсе распахнуты настежь. Возле каждой из таких Цветков останавливался, чтобы заглянуть внутрь. Ничего особенного в помещениях он не обнаруживал. Все это были какие-то склады или хранилища: то пыльных матерчатых тюков, то неподъемных стальных отливок. Попадались среди них и комнаты с разбитыми деревянными ящиками, с измятыми бумажными коробками и пакетами, сваленными в кучу.

Неожиданно он вышел из коридора в просторное помещение с высоченным сводчатым потолком, освещенное непонятно откуда сюда льющим светом. Помещение напоминало подземный грот размером с большой концертный зал или даже крытую спортивную арену. По каменным стенам сочилась ржавая вода, образующая лужи на цементном полу.

И тут Цветков увидел мужчину.

Тот стоял возле стены, одной рукой ухватившись за ступень пожарной лестницы, ведущей к небольшому квадратному проему в потолочном своде. На этой пятнадцатиметровой лестнице, крепившейся на стене с помощью стальной арматуры, вбитой в каменную породу, кое-где не закрепленной на стене, отсутствовала часть ступеней, что должно было не столько затруднять подъем, сколько делать его опасным.

Мужчина не то пытался что-то вспомнить, не то на что-то решался и никак не мог решиться. Он все время ставил ногу на железный прут, служивший первой ступенью лестницы, и вновь опускал ногу на пол.

Прежде чем карабкаться по этой лестнице, Цветков тоже хорошенько подумал бы. Уж очень ненадежной она ему показалась.

Молча он направился к мужчине. И тот, услышав шаги, развернулся к Цветкову, глядя на него вполне равнодушно.

Не дойдя несколько шагов до мужчины, Цветков остановился, смущенный тем обстоятельством, что откуда-то знает этого мужчину, только никак не может вспомнить, кто это и как его зовут.

— Э... — начал Цветков, вежливо улыбаясь мужчине, на правом запястье которого сверкнули часы. Цветков почему-то подумал, что это непременно «Ролекс», золотой или платиновый, в общем, самый дорогой, какой только может быть. — Простите, где я мог вас...

— Не утруждайте себя. Ну да, мы знакомы. Давным-давно.

Из-под свода — как раз через квадратный проем — вдруг посыпались вниз гирлянды искр, словно кто-то там наверху сейчас занялся сварочными работами. Высоко над головой Цветкова прокатился рокот, сопровождаемый отчаянным железным скрежетом. Словно что-то очень тяжелое, вдруг навалившись на свод, двигалось по нему, да так, что цементный пол под ногами Цветкова ходил ходуном.

— Ну вот, опять не успел, — произнес мужчина и выпустил из рук ступень лестницы. Потом посмотрел куда-то за спину Цветкову: — Подождите минутку. Кажется, опять она приехала. Пойдите здесь, я скоро! — раздраженно произнес мужчина и направился к распахнутой настежь двери всего в нескольких шагах от них.

В дверном проеме угадывалась довольно уютная комната. Были видны край стола и кресло, в котором кто-то сидел; судя по голым коленям — молодая женщина. Также можно было разглядеть ее тонкую, едва ли не прозрачную руку, безвольно лежавшую на подлокотнике.

Мужчина решительно и, видимо, с растущим внутри раздражением вошел в комнату. И оба сразу — и он, и находившаяся там молодая женщина — начали разговаривать на повышенных тонах. Цветков не вслушивался, считая это неудобным, даже неприличным, и решил дожидаться мужчину возле лестницы, ведущей к проему в потолочном своде, укрепленном стальными швеллерами над пространством размером с футбольное поле.

Разговор в комнате не утихал. Напротив, там перешли к взаимным упрекам и даже оскорблениям. И Цветков, хмурясь, направился туда, надеясь своим появлением погасить уже полыхающее пламя ссоры.

— Если бы твоя мать в свое время не пошла мне наперекор, я бы теперь не выслушивал твои претензии. А я тебе не мать Тереза! У тебя своя жизнь, у меня своя. Поняла? — эти слова мужчина произнес довольно истерично, брызжа слюной и даже оскалившись, видимо, для пушией убедительности.

Выплеснув все это, мужчина выскочил из комнаты, хлопнув дверью и едва не опрокинув Цветкова.

Последний смущенно посторонился.

— Говорил же дура: делай аборт! Теперь всю жизнь мучайся, содержи какую-то сумасбродку!

Цветков насторожился. Что-то в этих словах и вообще в этом столкновении мужчины и молодой женщины показалось ему знакомым. Нечто подобное случилось в его жизни. Правда, довольно давно. Но таких решительных слов он никогда не произносил и, наверное, не произнес бы.

Мужчина вновь направился к лестнице. Цветков поспешил за ним. Ему казалось, что сейчас он непременно вспомнит, где они встречались и как зовут этого человека.

— Нет! — воскликнул он. — Это какой-то кошмар! Мог ведь уйти сегодня. Но все медлил, вспоминал, что именно забыл взять с собой. И вот когда ушло время и уходит уже поздно, вспомнил, что забыл здесь свой портфель. Я ведь его приготовил, но, выходит, где-то оставил... Крокодиловой кожи, редкой красоты вещица. И потом — дорогушая! Вы не видели? — вопрос был обращен к Цветкову. Цветков пожал плечами и вежливо улыбнулся. — Без него я отсюда не уйду. Вот так каждый раз: только соберешься, влезешь на лестницу, как тут же обнаруживается, что забыл что-то. И вновь бродишь по коридорам, ищешь это что-то. Порой даже не знаешь, что именно ищешь. А пока ищешь одно, другое можешь потерять. А бывает и так: взял, кажется, уже все, что хотел, упаковал, как полагается, да только ноша теперь неподъемная! Или же вскарабкался на самый верх — путь открыт, да вот беда: в люк — не пролезть! Вещи не пускают: часть их надо непременно бросить. Ну и начинаешь решать, что именно бросить. И все тебе жалко, все тебе дорого, и со всякой самой малой вещицей у тебя что-то связано, может, даже что-то недостойное тебя, а то и просто постыдное, но такое сладкое, намертво засевшее в тебе воспоминанием. И ты медлишь, так сказать, на пороге свободы и все не можешь расстаться с прошлым, чтобы обрести эту

самую свободу. И вот уже поздно — искры летят, и свод прогибается. И снова спускаешься вниз... Или взять хотя бы фотографии из семейного альбома. Едва начинаешь отбирать самые важные из них, самые памятные, чтобы только их одних и взять с собой, как все фотографии вдруг делаются важными и памятными, и ни от одной из них нет сил отказаться. Кладешь их в карманы, а те, что не влезли в карманы, суешь за пазуху. Однако начинаешь подъем, и они сыплются из тебя, как осенние листья... Ладно, сегодня уйти не получится. Так что придется тут еще черт знает сколько куковать. М-да... — мужчина вздохнул и насмешливо воззрился на Цветкова.

— Где же я вас все-таки видел? — всплеснул руками Цветков, не понимая, почему до сих пор не вспомнил имя этого хорошо знакомого ему человека.

— В Караганде! — мужчина усмехнулся. — Пойдемте искать портфель. Чтобы завтра все было под рукой.

Цветков пожал плечами и последовал за мужчиной.

Они направились тем же путем, которым Цветков пришел сюда. Правда, теперь — в обратном направлении.

Следуя за мужчиной, Цветков рассматривал его.

Первое, поразительное, что Цветков заметил, были лакированные туфли на ногах мужчины. Правда, туфли основательно поношенные и поблекшие, видимо, вследствие многолетней носки. В том, что это были лакированные туфли, Цветков не сомневался. Второе, также поразившее его в облике мужчины, был его малиновый пиджак из девяностых, из-под которого выглядывал второй, только теперь зеленый и наверняка тоже из девяностых. Но самым поразительным было то, что из-под зеленого пиджака лезла оранжевая замша. Возможно, это была безрукавка или куртка.

Цветков в жизни не носил ни зеленых, ни малиновых пиджаков. Едва они появились в девяностых у «новых русских», Цветков сообразил, что это не его цвета. Люди, носившие подобные пиджаки, были по преимуществу из тех малообразованных, мрачно-агрессивных слоев общества, которыми всегда занимались правоохранительные органы. И вот девяностые, своей свободой по рукам и ногам связав органы правопорядка, дали вдруг надежду этим малообразованным и агрессивным гражданам, и те распоясались. И началась великая война за еще не поделенные богатства родины — со стрельбой, погонями и предсмертными хрипами целого поколения. И те, кто выжили в этой борьбе, отделавшись либо кратковременными тюремными сроками, либо незначительными увечьями, стали носить малиновые и зеленые пиджаки, словно нашивки за ранения и боевые награды. Цветков в то время много размышлял об этих пиджаках. Почему, собственно, малиновые? Или зеленые? Ведь еще десять лет назад подобный пиджак мог надеть на себя разве что клоун в Ленинградском цирке. И вот нате вам: утробистые мужики со сломанными носами и откушенными ушами, раздвигающие на Невском толпу, словно ледоколы, уверенно шли по жизни в подобных клоунских пиджаках, и никто над ними не смеялся. Напротив, остальные напуганные этими мужиками граждане примеряли на себя в мечтах и наяву эти же клоунские пиджаки, чтобы казаться окружающим... деловыми, уважаемыми людьми. Парадокс, но даже образованные, нечуждые культуре граждане надевали их на себя, чтобы стать чуть уверенней в своих силах или просто кого-то напугать, выдав себя за мужика с «макаровым» в кармане.

Да, девяностые были еще завалены тяжелыми кожаными куртками черного цвета. Но подобные куртки носили граждане, обычно сопровождавшие персонажей в малиновых и зеленых пиджаках, изображая из себя их охранников и телохранителей.

Но замшевая куртка? Она-то здесь при чем?

Цветков задумался. В поисках ответа он мысленно вернулся в начало девяностых, где малиновый пиджак отменил пижонскую замшу. Но видимо, не до конца отменил. И рыжая замшевая курточка в девяностые являлась чем-то вроде белой вороны, мелькавшей среди черноты кожаных курток, обеспечивающих покой малиновым пиджакам. И служила романтическим самообманом человеку со вкусом в условиях повсеместно сложившихся тогда в России трагических обстоятельств непреодолимой силы.

У Цветкова была как раз такая курточка, и он ее любил, но не носил; все не представлялось удобным случаем: компания, которая могла бы оценить этот его *прикид*, никак не собиралась. Можно было, конечно, побродить в ней по улицам, зайти в бар, чтобы выпить коктейль, или даже посетить драматический театр, но у него и это как-то не складывалось. Цветков чувствовал фальшь в этом действе и усмехался себе под нос. Проще было надеть черную кожаную куртку или малиновый пиджак и слиться с толпой сограждан. Но Цветков не желал сливаться с согражданами так пошло. Но и выделяться особо не рисковал. Такое было время.

И все же однажды он взял замшевую куртку в командировку. Именно взял — положил в сумку, удовлетворившись лишь джинсовой рубашкой на теле. В одной рубашке было прохладно, и, честно говоря, он мерз всю дорогу. Но так было спокойней: к нему не приглядывались, на нем не заостряли внимание. Там, куда он приехал писать репортаж, все ходили в малиновых пиджаках, и Цветков не отважился извлечь свою курточку из чемодана. Чтобы не быть белой вороной. Хотя и надеть цветной пиджак и стать одним целым с победителями, теми самыми — с кривыми носами и откусенными ушами — ему тоже не хотелось. Поэтому всю командировку он проходил в джинсовой рубашке, ежась от холода, но широко улыбаясь согражданам и при первой возможности забегая в туалет, чтобы отлить.

В одной из комнат, куда заглянул мужчина в поисках своего портфеля, оказался человек, сразу заговоривший с театральным надрывом в голосе. Что именно он говорил, Цветков, как ни старался, не разобрал. Но почему-то Цветков знал, что это Ципкин. Да, это был именно Ципкин, хотя Цветков и не видел его. Узнал его по голосу? Да нет же. Голос был совершенно незнакомый. Но кто же еще, кроме Ципкина, мог так фальшиво вести разговор?! Цветков не сомневался в том, что в комнате Ципкин, в своем желтом костюме, в черной шелковой рубашке, с черным платком, повязанном на горле, и, как всегда, с наглым, а теперь еще и немного испуганным лицом.

Едва мужчина вошел в комнату, Ципкин наверняка бросился к нему — Цветков в этом даже не сомневался, — по-женски заламывая руки.

— Я знаю, что вы меня не любите, — вдруг услышал Цветков слова невидимого ему Ципкина. — Да и за что меня любить?! Но прошу вас, помогите мне. По крайней мере, никому не говорите, что я здесь. Я в опасности и боюсь остаться один. На меня идет охота. Я уже на волоске...

— Вы такая ценная дичь? — холодно поинтересовался у Ципкина мужчина, добавив изрядную порцию иронии в свой вопрос.

— Не смейтесь, — уже шепотом продолжил Ципкин. — Я все же художник. А художник обязан творить каждый день, каждую минуту, и если он остановится, его спишут со счетов и вышвырнут из искусства. Конечно, я не могу изображать жизнь и людей так, как это делали Рембрандт, Тициан или Веласкес. Выходит, я должен каким-то образом... обмануть публику, чтобы та поверила в то, что я художник — и такой же, как Рембрандт, Тициан или Веласкес. Каким-то образом я должен убедить ее в том, что, скажем, куча дерьма под дверями Мариинского дворца сегодня то же самое, что «Даная» для ценителей искусства позапрошлого века. Пусть и не то же самое, но не-

что равноценное, равнозначное с точки зрения современного искусства. Но убеждать обманывая — о, как же это нелегко! Это, знаете ли, тоже большое искусство...

Цветков стоял возле двери комнаты, в которой находились мужчина и Ципкин, и не собирался заходить туда. Ему не хотелось видеть Ципкина, не хотелось с ним говорить. И уж тем более помогать ему. Ципкин был ему ненавистен. Если бы Цветков мог уничтожить сейчас Ципкина и остаться при этом безнаказанным, то, несомненно, уничтожил бы, наслаждаясь его предсмертными муками, смеясь в его искаженное болью лицо. Но Цветков боялся уголовного преследования, и ему оставалось только изнывать от ненависти к Ципкину.

Послышался какой-то посторонний шум — кажется, из дальнего конца коридора кто-то следовал сюда.

Огромные крысы — те самые, о которых рассказывал Ципкин — стаяй приближались к нему. Однако Цветкова было не обмануть; он был уверен в том, что огромные крысы — неформалы, те самые акционисты, которых он видел на открытии выставки в галерее искусств на Литейном. Вот и сейчас длинные желтые шарфы колебались в волнах воздуха, матово отливали кожаные куртки-косухи с заклепками, ухажи по цементу тяжелые сапоги с высокими берцами, скрипела инвалидная коляска.

Цветков прильнул к стене и стал крутить головой в поисках укрытия, однако не нашел ничего подходящего. Вытянувшись в струнку, изо всех сил вжимаясь в стену, Цветков не дышал.

Бегущие по коридору крысы показались Цветкову решительно настроенными на что-то жестокое, кровавое, роковое. Цветков отчаянно боялся попасть им сейчас под горячую руку.

Тем временем крысы остановились возле приоткрытой двери в комнату, где находились сейчас Ципкин и мужчина — как раз напротив вросшего в стену Цветкова. Наверняка крысы заметили Цветкова, но тот, видимо, не интересовал их в данный момент.

Дверь комнаты распахнулась, и в коридор вышел мужчина, напуганный внезапным появлением этой затаенной в кожу банды. Вышел и тут же бесшумно прикрыл за собой дверь.

— Ну? — грозно спросила мужчину одна из крыс.

— Он там, за дверью, — хрипло произнес мужчина, косясь на дверь. — Только к тому, что вы задумали, я не хочу иметь никакого отношения.

— Не хочу иметь никого отношения! — передразнил мужчину крыса в инвалидной коляске, выкатываясь вперед. — Скажи еще, что тебе эту гниду по-человечески жаль и что не тебе судить... или еще какую-нибудь хрень. Ты сам его ненавидишь, желаешь ему смерти, а прикончить его должны мы? Так, что ли?

— Но ведь он не меня, а вас обманывал, когда заявлял, что вместе с вами отрежет себе часть пениса! — воскликнул мужчина, полагая, что это напоминание снимет с него обязанность участвовать в предстоящем действе.

— Это наше дело. А ты за себя отвечай. Вот, держи! — и колясочник протянул мужчине огромные, сверкающие никелем ножницы.

Все они — и мужчина, и банда крыс-неформалов — стояли сейчас спиной к Цветкову, и последний, понимая, что ножницы в конечном счете непременно вложат ему в ладонь, тенью отделился от стены и направился в ту сторону, откуда появились крысы. Сделав несколько десятков шагов, Цветков услышал:

— Эй, ты куда?

Со стороны это выглядело довольно малодушно, но Цветков побежал. Умирая от страха и хватая ртом стоячий воздух. За спиной у него заухали сапоги: банда броси-

лась в погоню. Цветков бежал, спотыкаясь, задыхаясь и повизгивая от страха. И при этом — боясь оглянуться на преследователей.

Погоня не удалялась от него, а ноги Цветкова отказывались бежать, и Цветков думал о том, что, если сейчас упадет, ему конец.

Почему конец? В чем он виноват?

Он все же упал, тут же подтянув ноги к груди и крепко обхватив голову руками — защищая таким образом лицо. Однако бить его никто не стал.

Вокруг него разгоралась рукопашная схватка: кто-то скрипел зубами, кто-то кричал, угрожая, кто-то жалобно просил пощады. Трещала одежда, гулко падали тела, ударяя головами о цементный пол. Цветков понял, что его или не замечают, или принимают за мертвого.

Но кажется, он просто спал.

И ему приснилось, что его заметили на полу, рывком поставили на ноги и вложили ему в ладонь что-то металлическое, холодное. Цветков не открывал глаз, боялся увидеть то, что у него в руках. Наверняка это были ножницы. То, что от него теперь молчаливо требовали, было невыполнимо. Но и противиться опасным крысам Цветков не находил в себе мужества. Он все еще боялся открыть глаза и посмотреть на обступившую его банду, полагая, что этим вызовет ярость крыс, а может, и вдруг увидит нечто такое, после чего не сможет жить. И потому он стоял, опустив голову и слушая, как вибрируют его натянутые нервы.

Наверняка Ципкин был сейчас где-то рядом, всем своим видом говоря Цветкову: только попробуй отрезать, и до конца своих дней будешь гнить в тюрьме. Цветков был в отчаянии. Он был уверен в том, что все они — и люди, и крысы — знают, что должно случиться дальше: Цветков непременно отрежет Ципкину то, что тот когда-то грозился отрезать себе сам. Отрежет — тем и погубит себя.

И тут Цветкову пришло спасительное: он подумал о том, что, возможно, все еще спит, что все это лишь дурной сон. Но если это ему лишь снится, то вот что он должен сделать, чтобы прекратить эту невыносимую пытку: он должен задушить Ципкина. А потом передушить всех крыс, как котят. И колясочника тоже удавить. В Цветкове вдруг появилась такая решимость.

Ципкин даже не сопротивлялся, когда Цветков, не открывая глаз, душил его. У Ципкина оказалась тонкая вялая шея, и Цветков передал ей, как садовый шланг. Притихшие крысы топтались где-то рядом. Отбросив от себя Ципкина, Цветков перешел к крысам. Те даже не пробовали бежать: пока Цветков нащупывал и давил горло первой из них, остальные покорно ждали своей очереди. Крыса-колясочник, правда, попыталась удрать. Но Цветков, услышав скрип удаляющейся коляски, в два прыжка настиг колясочника, развернул коляску к себе и, все так же не открывая глаз, раздавил коленом грудь беглеца.

Дело было сделано. В крови Цветкова докипал адреналин, и Цветков радовался тому, что все это было лишь во сне.

Когда он открыл глаза, рядом никого не было.

Выходит, он и в самом деле спал, и та лютая расправа, которую он только что учинил, была лишь сном.

Вдоль стен широкого сумрачного коридора лежали горы строительного мусора и вороха черной от влаги прелой листвы.

Куда все же делась погоня?

Ведь она не отставала... А потом он вдруг заснул?

Тут что-то было не так. Не так, как должно быть.

Он подошел к стене и застыл в нерешительности: а что если сон — не сон? И все они — и Ципкин, и крысы-неформалы — там, под мусором, еще теплые?

Повертев головой по сторонам (вдруг кто-то сейчас наблюдает за ним), Цветков ковырнул носком туфли гору мусора. Посыпались куски сухой штукатурки, клоки стекловаты, обрезки стальной арматуры, битый кирпич; обнажились две пластиковые бутылки, одна из которых была до половины заполнена темно-желтой прозрачной жидкостью, вторая — на треть мутной оранжевой. Рядом с бутылками обнаружили смятые бумажные стаканчики от молочного мороженого с деревянными палочками внутри, пустой пузырек от школьных чернил, чей-то дневник за шестой класс средней школы. Ни имя, ни фамилию на титуле Цветков не разобрал. Все так же носком башмака он раскрыл дневник посередине и сразу понял, что дневник — настоящий, тот, что дается на растерзание учителям, но содержится втайне от родителей, потому что родителям предлагается обычно другой дневник — фальшивый. В настоящем шестиклассник старательно расписывается вместо родителей на каждой странице под всеми двойками и замечаниями возмущенных учителей, тем самым давая понять классному руководителю, что родители шестиклассника в курсе его школьных дел. В фальшивом же дневнике почти нет оценок. А если и есть, то не ниже четверки. Конечно, такая тактика шестиклассника в какой-то момент терпит крах, оканчиваясь выволочкой, а то и рукоприкладством, но до этого трагического момента у шестиклассника есть шанс пожить по-человечески.

Под дневником оказалась мертвая жаба: из тела жабы торчал кусок алюминиевой проволоки, изогнутый посередине под острым углом. Такие алюминиевые пули Цветков в детстве изготавливал для стрельбы из рогатки, когда весной в его районе началась война двор на двор.

А ведь это была та самая жаба, которую он как-то в середине апреля расстрелял в упор. Сердце Цветкова содрогнулось.

Зачем он убил ту жабу?

Жаба грелась на солнце в небольшой, довольно глубокой луже, образовавшейся в результате таяния скопившегося за зиму льда возле подвальной двери «родилки». Так ребята во дворе называли родильный дом, что был через дорогу от их дома. Жаба, большая, едва ли не глянцева, отвратительная Цветкову, совершенно разнежившаяся на припеке, довольно близко подпустила его, шестиклассника, к себе. И едва Цветков понял, что убил ту жабу, едва он увидел рану на теле жабы, страшную, роковую, его затошнило, и он бросился прочь.

Теперь та несчастная жаба вновь больно резанула Цветкова по сердцу.

— Жаба на моей совести, — произнес он, не услышав собственного голоса.

Болезненно сморщившись, Цветков носком туфли забросал жабу мусором — убрал с глаз долой.

Потом он увидел бутылку. Пол-литровую из-под лимонада «Буратино», в которой они с Валерой Петроченко когда-то пытались приготовить малиновую настойку. Два дня во время тихого часа за лагерным забором Цветков и Петроченко набивали малиной эту бутылку, а не собственные желудки, обирая редкие кусты хилой малины. Потом насыпали туда добытый на лагерной кухне сахарный песок, заткнули и зарыли бутылку под кустом рядом с забором. Надеялись в конце пионерской лагерной смены раскупорить бутылочку и побаловаться *настоечкой*. Когда пришло время воспользоваться настойкой — ягодное вино зрело уже больше двух недель, к тому же завтра их увозили на автобусах из лагеря в город, — Петроченко отрывать бутылку отказался.

— Иди сам, если тебе так надо, нам ведь нельзя забор! — фальшиво заявил Петроченко, пряча глаза от Цветкова. Цветков пристально посмотрел на Петроченко, потом бросился к дыре в заборе, выбрался наружу и принялся копать под кустом. И ничего, кроме жирного дождевого червя, не откопал.

Петроченко кричал, что это наверняка не тот куст, что тот, кажется, был в другом месте, но он не помнит, в каком именно, когда готовый заплакать от такого вероломства приятеля Цветков напрыгивал на него, не по-детски широко в кости, чтобы ударить его кулаком в нос. При этом Петроченко не то что не пытался дать Цветкову сдачи, но даже не защищался. И когда у него наконец хлынула кровь из носа, благодарно заплакал.

Так вот, оказывается, где они с Петроченко зарыли ту бутылку с настойкой! Выходит, зря он разбил Петроченке нос. О, как Цветков тогда негодовал! Всю лагерную смену Цветков был уверен в Петроченко, как в самом себе, считал его другом, делился с ним халвой и лимонадом, которые покупал в поселковом магазинчике на деньги, выигранные в «трясучку»...

Цветков взял бутылку в руки, вытянул из нее свернутую из куска газеты пробку и хлебнул настойку из горлышка. В настойке не было ни градуса, ни вкуса. У нее не было даже цвета. Что-то вроде воды из-под крана. Зря, зря он тогда разбил Петроченке нос. Но как Цветков мог забыть, что бутылку с настойкой они закопали именно здесь, у стены, в мусоре?

Он повертел головой по сторонам, пытаясь разглядеть зеленогорские сосны и высокий забор с крашенной в зеленый цвет металлической сеткой, через дыру в котором они с Петроченко убежали в тихий час из лагеря на волю. И кажется, что-то похожее увидел. Но лишь на мгновение и довольно неотчетливо.

Цветков уже собрался идти назад, чтобы взобраться по пожарной лестнице к проему в потолке и наконец-то завершить свое странное путешествие, и тут только вспомнил, зачем подошел к этой куче мусора.

Взяв в руку кусок арматуры, он принялся ворошить прошлогоднюю листву, сваленную у стены, и увидел обнажившуюся сухую ладонь. Словно кого-то забросали палой листвой, и он, бессильный, тянул теперь к Цветкову свою руку, надеясь на его помощь. Цветков отпрянул от стены. Потом, загнанно озираясь, забросал ладонь листьями.

Все в Цветкове противилось этому открытию.

«Нет, нет, нет! Это не Ципкин и не кто-то из этих крыс. Да мало ли кто там может лежать! Возможно, это чья-то могила, а я просто не заметил надгробный камень. Так ведь бывает: бродишь по кладбищу в поисках нужной могилы, а между тем топчешь какие-то давно ушедшие в землю надгробия и даже не замечаешь этого...»

Однако ж успокоить себя не получалось. Вопреки желанию в голове Цветкова звенело: «Нет, голубчик, это твоя работа. И все они — и Ципкин, и акционисты — там! Нельзя было копаться в этом, нельзя было ворошить. Сам виноват...»

Он спешил прочь от этого места и пытался уверить себя в том, что тела под листьями вряд ли кто-то обнаружит. А если и обнаружит, то где доказательства того, что этих людей прикончил именно Цветков?

Цветков смотрел на свои руки.

Руки были как руки, и на них не было ни капельки крови.

«Только бы они не завоняли, и тогда их не найдут, — думал он, но убийственная мысль терзала его мозг: — Как же не найдут?! Найдут! И доказывать ничего не станут. Всем и так известно, как Цветков ненавидел Ципкина и прочих современных художников...»

Цветков вновь стоял возле лестницы, ведущей к проему в потолочном своде, от туда сыпались снопы искр.

За спиной послышались чьи-то осторожные шаги. Задержав вдох, Цветков медленно повернул голову. К нему направлялся тот самый мужчина, имя которого Цветков никак не мог вспомнить. Лицо мужчины было спокойным, даже каким-то меланхоличным, и Цветков осторожно выдохнул, предположив, что мужчине ничего не известно о последних подвигах Цветкова.

— Я же вам говорил, нам еще ждать и ждать, когда можно будет убраться отсюда, — сказал мужчина Цветкову, указывая пальцем на потолок.

— Если надо — подождем! — сказал Цветков и осторожно улыбнулся, обрадованный тем, что мужчина ничего не знает и, возможно, ничего не узнает о цветковских подвигах.

— Вот черт, куда же она делась? — пожаловался мужчина Цветкову.

— Кто она? — Цветков опять мучительно пытался вспомнить имя этого человека, буквально вертевшееся у него на языке.

— Да запонка. Вот полюбуйтесь, — и мужчина протянул вперед свою правую руку с расстегнутым рукавом белой рубашки. — Все уже приготовил, все собрал, любимый портфель нашел и в самый последний момент обнаружил ее пропажу. Но как отсюда уйти, если оставляешь здесь что-то для тебя дорогое?!

Он принялся ходить взад и вперед, уставившись в пол. Вежливо кашлянув в кулак, Цветков также устремил свой взгляд в пол и принялся искать пропавшую запонку.

Некоторое время они ходили, уткнув глаза в пол.

— Нашел! — воскликнул вдруг мужчина и торжествующе поднял над головой что-то зажатое в кулаке.

Цветков подошел к нему, уверенный, что сейчас непременно в его голове всплывет имя этого человека, и взгляделся в находку.

— Но ведь это... морская ракушка, — вежливо заметил Цветков.

— Еще школьником привез ее из Крыма. Валялась у меня дома в спичечном коробке, потом я о ней забыл. И вот нашлась! Не представляете, как я счастлив, — мужчина торжествующе поглядел на Цветкова.

— Но ведь вы искали запонку? — пожал плечами Цветков.

— Ну да, золотую. Запонка, запонка...

Это был не ответ, однако Цветков промолчал, видя радость на лице собеседника.

— Простите, — наконец решился Цветков, — вы не напомните мне, где мы с вами встречались? И ведь совсем недавно.

— Где встречались? Да везде... Вы спешите отсюда?

— Да уж, — усмехнулся Цветков и воззрился на отверстие в потолке, к которому вела пожарная лестница. — А другого пути отсюда нет? — поинтересовался Цветков. — Я, например, спустился сюда по лестнице, но у той было от силы пятнадцать ступеней. А у этой в десять раз больше. Не находите, что это странно?

— Ничего странного, — немного раздраженно воскликнул мужчина. — Я, например, вообще никуда не спускался. И как здесь оказался, понятия не имею. Хотя что-то припоминаю, конечно. Но вот детали или последовательность событий... Хотите есть? — поинтересовался он.

— Не отказался бы, — улыбнулся Цветков, не чувствуя ни жажды, ни голода.

— И я не отказался б. Искал тут какой-нибудь продовольственный склад. В одной комнате обнаружил галеты и макароны. Набросился на галеты, а это не галеты, а костяшки домино. Глупость какая-то. И макароны — не макароны, а черт-те что: жуешь их, добываясь вкуса, а вкуса нет, как у пластмассы или пластилина. Да, тут толь-

ко чугунные болванки да мешки с тряпьем настоящие. Вам, случайно, здесь не попалось съестное?

Цветков следовал за мужчиной и до головной боли пытался вспомнить, с чем сюда пришел. Наверняка и у него был с собой кожаный портфель, но, конечно, не крокодиловой кожи, о котором он мечтал всю жизнь. Да и какие-то вещи тоже были. Все это следовало найти, прежде чем лезть вверх по лестнице. Кстати, была ли на нем любимая замшевая куртка, когда он попал сюда — ну, та самая, которую он никогда не носил?

Он заглядывал в комнаты и помещения в поисках своих вещей, забыв, что они ищут еду. То и дело Цветкову попадались и кожаный портфель, и замшевая куртка — то висящие на вбитых в стену гвоздях, то лежащие в углу комнаты на грудке мусора, а то — на парковой скамье. Но едва Цветков лез в карманы куртки или открывал портфель, тут же понимал: это не его вещи. И опять мучительно пытался вспомнить, где оставил свои.

Кажется, он заснул, потому что в коридоре вновь появились те самые крысы-неформалы, которых он недавно передудшил. И колясочник был с ними и улыбался, как живой, скаля желтые прокуренные зубы. Они подошли к замершему у стены Цветкову, и Цветков принялся работать кулаками. Его удары по лицам акционистов получались довольно слабыми, однако и они валили этих крыс на пол, и Цветков топтал их тела, словно это были не тела, а пуховые подушки. То справа, то слева от Цветкова мелькал Ципкин со своей ядовитой ухмылкой, но в драку вступать не спешил. С одной стороны, Цветков был рад тому обстоятельству, что все эти неприятные персонажи до сих пор живы. Но с другой стороны, ему вновь и вновь приходилось уничтожать их. И он молотил кулаками проклятых крыс и топтал, топтал, топтал их тела...

— Да что ж это такое! — возопил Цветков, придя в себя посередине комнаты и рядом с мужчиной, крутящим перед глазами мятую замшевую куртку, очень похожую на ту, что когда-то была у Цветкова.

— Что с вами опять случилось? — спросил Цветкова мужчина, не отрывая своего придиричьего взгляда от куртки.

— Меня всюду преследуют, и мне приходится...

— Убивать преследователей? Не беспокойтесь, я никому не расскажу об этом. Вы их убиваете, а они появляются снова?

— Да... Разве такое возможно? — удивился Цветков.

— Так всегда и происходит. Учтите, они не отстанут от вас до тех пор, пока вы их, — тут мужчина сделал паузу и выразительно посмотрел на Цветкова, — не полюбите. Или хотя бы не простите.

— Я всех давно простил! — немного обиженно взвился Цветков.

— Вы уверены? Если и простили, то на словах, а не в сердце. Прощение только в сердце, дорогой мой. Это вам известно не хуже меня. Вы их продолжаете ненавидеть, потому-то они и не отстают от вас.

— Тогда подскажите мне, каким образом можно взять и простить беспринципных, безжалостных, трусливых, лживых и ничтожных гордецов?! Я ведь их даже людьми не могу назвать. Были бы они крысами, тогда другое дело, — прорвало и понесло Цветкова.

— Так уж и не люди! Не меньше нас с вами. Ну, и не больше, конечно. Где-то я читал, что прощение — это подвиг смирения и самоотвержения. Может, это и черес-

чур, — мужчина взглянул на Цветкова насмешливо, совсем как инспектор детской комнаты милиции на юного хулигана. — Но попробуйте взглядеться в каждого из них, и, уверяю вас, в каждом вы найдете нечто человеческое, потому что оно там есть. Человеческое есть в каждом даже тогда, когда вы не хотите этого замечать, когда видите в человеке только омерзительную крысу. Постарайтесь увидеть в этих крысах человеческое, и вашему сердцу станет легче смириться с их существованием. Кстати, и вы ведь не ангел. Вам бы тоже следовало чаще виниться перед людьми. Помимо вины перед этими несчастными художниками, — тут Цветков вздрогнул: как этот человек узнал, кого именно Цветков имел в виду под ничтожными гордецами? — у вас имеется должок еще кое перед кем. Даже не должок, а целый долг!

Цветков опять шел по коридору. Куда? Об этом он не думал.

В мозгу Цветкова сидела последняя фраза мужчины. Цветков понимал, на кого именно намекал ему мужчина. На дочь Цветкова и мать его дочери.

Цветков виноват перед ними? Пожалуй, виноват...

Немного раздраженно он думал сейчас об обеих и склонялся к тому, что без признания за собой вины перед ними ему не выбраться отсюда. Так что прежде всего ему следовало уладить это неприятное дело, а уж потом идти искать человеческое в крысах.

Но с чего вдруг, почему он станет искать человеческое в каких-то крысах? Да потому, что ему давно пора отсюда наверх: завтра на Московский вокзал приезжает его взрослая дочь, которая, возможно, вовсе не его дочь. Но ему сейчас почему-то хотелось, чтобы та действительно оказалась дочерью. Что за блажь? Довольно странное желание холостяка, всегда жившего для себя... Зачем ему эта обуза в виде взрослой дочери?

Он и сам не мог понять зачем. Однако идея встретить на Московском вокзале дочь (пусть и не свою) все больше увлекала Цветкова, постепенно завоевывая его сознание.

Цветков думал о предстоящей встрече, и та казалась ему важной.

Но если дочь должна только завтра прибыть на Московский вокзал, то как она может сейчас находиться здесь, в одной из комнат?

В том, что дочь здесь, Цветков был уверен.

И еще он откуда-то знал, что и ее мать тоже тут, рядом.

Еще вчера Цветковым в подобном деликатном деле руководил бы холодный расчет, и Цветков предельно цинично и с минимальными душевными затратами решил бы эту проблему — примирился бы с обеими. Помирился бы, конечно, обманывая себя, уверяя себя в том, что искренен с ними (это ему требовалось для того, чтобы чувствовать себя порядочным человеком), и потом еще некоторое время свято веря в этот обман. В общем, вчера в этом деле у Цветкова не возникло бы никаких проблем, потому что вчера у Цветкова не было совести. Вернее, вчера она помалкивала в темном углу цветковской натуры. Но сегодня, после всего того, что с ним случилось, Цветков чувствовал внутри себя какую-то досадную занозу, не дающую покоя, саднящую память и не позволяющую Цветкову сохранять хладнокровие...

Цветков распахнул нужную дверь, и за ней, словно Цветков был фокусником, оказалась его дочь.

Вернее, довольно блеклая девица, сидевшая в протертом кресле. Не с ней ли еще недавно на повышенных тонах говорил здесь мужчина, имя которого Цветков все никак не мог вспомнить?

Цветков подошел к девице. Та подняла на него глаза, и Цветков, к своему удивлению, узнал в ней... селедку — ту самую провинциалку, которую вчера увел у него Ципкин.

Его дочь — та самая селедка?!

Но ведь он мог вчера пойти с ней...

На его лбу проступила испарина. Селедка посмотрела на него снизу вверх с невинным и довольно глупым выражением на лице, посмотрела без всякого удивления, по всей вероятности, думая о чем-то своем, мелкотравчатом.

О деньгах? О прыщавом женихе? (Наверняка у нее есть жених — фитиль с тонкой шеей, прыщами на лице и глупым смехом.) А может, и о Ципкине, с которым провела ночь.

Селедка вдруг стала ему неприятна. Сейчас его «прости», обращенное к ней, действительно было бы простой формальностью. В нем не обнаружилось бы ни душевного сокрушения, ни сострадания. И значит, «прости» не сработало бы. (Хотя Цветков сейчас был уверен в том, что это сидящее перед ним тупое создание не в силах отличить подлинное чувство от фальшивого.) И селедка, то есть его дочь, хочет она того или нет, не отпустила бы его отсюда наверх. И он вследствие этого не смог бы встретить ее на Московском вокзале. Конечно же, не эту, простоватую, туповатую девицу, а другую: умную, красивую, светящуюся от радости при виде идущего ей навстречу Цветкова, как ему этого сейчас все больше хотелось.

Без его искреннего «прости», без его осознания своей вины перед этой селедкой та изо дня в день будет сидеть в этой комнате, мечтая о своих жалких глупостях.

Однако что-то в Цветкове все же изменилось.

Он чувствовал, как непривычная теплота завоевывает его сердце. Совсем как та, давнишняя, жалость к подстреленной жабе, внезапно обнаружившаяся в его сердце возле подвальной двери «родилки», обнаружившаяся, несмотря на отвращение к бьющейся в конвульсиях глянцевої твари. Однако и этой обнаружившейся в сердце Цветкова теплоты было еще недостаточно для того, чтобы сердце Цветкова попросило у селедки прощения.

Он понимал, что должен отыскать в этой глуповатой, вполне к нему равнодушной и оттого неприятной ему девице что-то, возможно, неприметное, незначительное, неброское, но сокрушающее и его гордый нрав, и его холодный разум.

В плохоньком платье, в туфлях, стертых до коричневой кожи на носках, она действительно выглядела жалко. Как ей до сих пор жилось? Ведь он бросил ее еще до ее рождения. И по мере того, как девочка росла, ее мать, вероятно, находилась в весьма стесненных обстоятельствах, разрываясь между потребностью устраивать собственную судьбу и необходимостью растить дочь, которую, конечно же, любила, но которая, несомненно, была препятствием к устройству судьбы этой вполне обыкновенной женщины. И со временем, не находя искомого счастья, мать, вероятно, становилась все более невыносимой в общежитии, кричала на дочь и даже поднимала на нее руку. И во всем этом формально был виноват Цветков, однажды во хмелю сделавший этой женщине ребенка и тут же бросивший ее с ребенком как досадную помеху. Так что очень даже возможно, что в какой-то момент окончательно потерявшая надежду на личное счастье мать сделалась невыносимой для собственной дочери.

Однако ее мать... Цветков подумал о том, что с селедкой он договорится чуть позже — никуда она от него не денется, поскольку будет сидеть в своем кресле и мечтать о своих глупостях. А вот ее мать — та женщина, в адрес которой Цветков не раз и не два бросал обидные, жестокие слова и которую как-то, потеряв терпение, даже

обозвал «шлюхой» — та для него в настоящий момент действительно проблема. Женщины долго — если не всю жизнь — помнят нанесенные им обиды. И если она, увидев Цветкова, закусит удила, прощения от нее Цветкову не видать, сколько ни вейся перед ней ужом, сколько ни бей себя в грудь и ни посыпай свою голову пеплом. Но где искать эту женщину?

Как где, наверняка она сейчас где-то рядом. Рядом со своей дочерью. Ведь и за тысячи километров от дочери мать все равно рядом с ней своими всегдашними мыслями о ней, своей всегдашней тревогой и потому не прекращающейся ни на секунду мольбой за нее...

Он вышел от селедки (та при этом даже не взглянула на него) и отправился искать мать своей дочери, размышляя о том, как могла измениться эта женщина за прошедшие двадцать с лишком лет. Способна ли она и теперь, как в тот вечер, когда они в первый и последний встретились, радоваться чужому счастью и добродушно смеяться над собой?

Цветков заходил в каждую из попадавшихся ему на пути комнат. И всюду там — и на полу, и на столах, и в разбитых ящиках — лежали крысы.

Но нет, Цветкова было не так просто обмануть!

Он понимал, что никакие это не крысы, а неформалы — те самые недобитые им акционисты. Цветков бросал брезгливый, опасливый взгляд на крыс, и все в нем сопротивлялось необходимости вглядываться в их мохнатые, одутловатые морды, чтобы найти там что-то человеческое. Крысы были ему омерзительны.

Однако последние не проявляли агрессии по отношению к Цветкову. Напротив, они едва дышали. И вот еще что: на теле каждой зияла рана — напоминавшая ту, которую он нанес жабе у подвальной двери родильного дома. И из каждой такой раны торчала пулька, изготовленная когда-то Цветковым из куска алюминиевой проволоки.

В одной из таких подбитых крыс Цветков разглядел колясочника.

Тот быстро и неглубоко, совсем как уставшая от бега собака, хватал ртом воздух, пытаясь протолкнуть его в смятые легкие, но не мог этого сделать и задыхался.

Цветков собирался уже выскочить из комнаты, чтобы не видеть мучений колясочника, однако неожиданно для себя направился к нему.

— Я тебе помогу, — произнес он довольно сухо, не решаясь заглянуть в лицо колясочнику, и, подавив приступ брезгливости, извлек пульку из его груди.

Судорожно выгнув спину, крыса протолкнула воздух в легкие и задыхалась. Потом открыла глаза и посмотрела на Цветкова с благодарностью.

— Прости меня, — равнодушно произнес Цветков и вдруг отважился взглянуть в лицо колясочника.

Лицо как лицо: сухие губы с чешуйками мертвой кожи, не могущие до конца сомкнуться, чтобы прикрыть желтизну ломаных, с лошадиным прикусом зубов, кривой, кривой нос, набрякшие загубные складки, глубокие борозды на лбу, толстые сивые волоски над верхней губой и на подбородке, угри с черными головками на щеках и скулах. И глаза — с тяжелыми веками без ресниц, мутные, с сетью бордовых капилляров по всей роговице... и еще с чем-то неожиданным внутри, напомнившим Цветкову растопленный на огне спиртовки воск. Этот горячий воск пробивался изнутри сквозь муть глаз и светился так, что долго смотреть в эти глаза Цветкову было нестерпимо.

Но откуда мог взяться свет в крысе, в этом сломанном пополам существе, в грязном, неделями не мывшемся и столько же не менявшем нательное белье калеке, в котором и жизнь-то держалась лишь по недоразумению?!

Но ведь держалась, да еще и сочилась наружу от избытка.

Пожалуй, этот свет был самым главным в облике колясочника. Он был его сутью. И возможно, той идеей самой жизни, ради которой она, жизнь, до сих пор жила в этом наполовину мертвом существе.

Но разве подобная жизнь была нужна самому колясочнику? Едва ли...

Но кому тогда? Кому предназначался этот свет из глаз колясочника?

«Этот калека, может, и жил до сих пор для того, чтобы я увидел его боль...» — неожиданно пришло на ум Цветкову.

Это был свет страдания. Чистый и нестерпимый для глаз.

Цветков отвел взгляд в сторону: так страдать мог только человек.

И память вдруг вернула Цветкову события почти двадцатилетней давности — шумную компанию остряков, в которую затесалась одна молодая мать умирающей девочки. Эту женщину недавно бросил муж. Не потому бросил, что полюбил другую или захотел свободы, а потому, что был не в силах жить рядом со своей приговоренной к смерти и каждый день умирающей дочерью. Бросил, потому что хотел сохранить собственную жизнь. Будто заполз в окоп при бомбежке и заткнул ладонями уши. И его жена осталась один на один с подступающей к их ребенку смертью, намертво приковав себя к этой беде. Эту молодую женщину привели сюда ее подруги, чтобы дать ей передышку, отвлечь от непрестанной борьбы со смертью (ее дочь то и дело накрывали приступы удушья), напоить живой водой человеческого участия или хотя бы накормить досыта. Кто уж там остался с ее дочерью — бабушка ли, соседка или еще какой самаритянин, известно не было. Да об этом собравшиеся за столом и не спрашивали. И вот она все время, пока была в этой компании шумных остряков и веселых выпивох, чуть ли не с благоговением смотрела на всех. А когда уходила, так искренне благодарила за свое сегодняшнее счастье посидеть с ними за одним столом, что все сидящие за столом не знали, куда спрятать глаза. Ее подруга, закрыв за ней дверь и вернувшись к столу с красным лицом и прыгающими губами, вдруг со смехом сказала: «Она считает, что мы все тут святые». И после этого у нее случилась истерика. Значит, и Цветкова, она тоже посчитала святым... Так вот, у той молодой матери были такие же глаза — с тем же нестерпимым светом изнутри. Цветков тогда расстроился. Он вдруг осознал, что рядом с его устроенной, удобной и многообещающей жизнью существует другая — беспросветная, безнадежная, полная боли и отчаяния — жизнь. И с этой жизнью Цветков не желал иметь ничего общего, эту жизнь Цветков смертельно боялся и ненавидел. От нее он убежал бы за тридевять земель или улетел на Луну. Потому что и один час прожить жизнью этой матери человеку невозможно, потому что такая жизнь против человеческой природы, против человека...

И до Цветкова дошло, откуда взялся этот свет в колясочнике.

Все болезненное, горькое, безжалостно ломающее пополам, что носила душа этого человека без надежды получить когда-нибудь перемену участи и жить так, как живут здоровые и счастливые и оттого не ценящие своего счастья и здоровья люди, годами плавилось в нем, уча его терпению, выжигая его обиды, смиряя его гордыню. И когда выжгло в его душе все телесное, пошло наружу, как кровь горлом у смертельно раненого.

Вымученно улыбнувшись, крыса протянула Цветкову свою высохшую ладонь, на которой лежала хлебная корка.

— У меня почти не осталось зубов, и десны кровоточат. Я не ел уже целую вечность. Пожуй эту корку и потом вложи пережеванное в мой рот. Сделай это для меня, и я спокойно умру, — сказала крыса.

Сунув хлебную корку себе в рот, Цветков принялся жевать. У корки не было вкуса, как у ваты. Наконец Цветков вывалил изо рта себе на ладонь пережеванный хлеб и осторожно, боясь сделать крысе больно, поднес ладонь к ее открытому рту. Отвернув голову от Цветкова, крыса попробовала проглотить хлеб. Не с первого раза, но ей все же это удалось. Наблюдая за этим действием, Цветков не чувствовал под собой ног.

— Спасибо, брат, — наконец произнесла крыса. — Теперь я немного посплю.
— Прости меня, прости, прости... — зажмурившись, повторял Цветков.

И вновь он открывал одну за другой двери. Возле одной на несколько секунд задержался, собираясь с духом: пришла уверенность, что за этой дверью — мать его дочери.

Однако когда он распахнул дверь, к нему с разложенного дивана (да-да, это был тот самый диван-книжка, где он провел ту единственную ночь с матерью своей дочери) повернула голову огромная глянцевая жаба с рваной раной на спине. Удивительно: у жабы были глаза колясочника, и в них жил тот же нестерпимый свет.

Цветков захлопнул дверь и бросился бежать.

«Это сделал я? А кто ж еще! Значит, и у нее — моей дочери — должна быть точно такая же рана...»

Он бежал и думал о том, как сейчас будет просить прощения у дочери, как встанет перед ней на колени и его слова будут искренними.

Но разве он на это способен?

Да, он сделает это. Но не для того, чтобы дочь отпустила его на свободу, а для того, чтобы позволила ему... быть ее отцом, жить отныне вместе с ней. Или хотя бы ради нее.

С его сердцем сейчас что-то происходило.

Оно таяло, плавилось, как воск, и ничего с этим нельзя было поделать. Он думал о том, что когда дочь простит его, он будет просить прощения у всех людей, которых подстрелил когда-то своей алюминиевой пушкой. Сколько их вокруг, оскорбленных его презрительным взглядом, раненных его язвительным словом, униженных его безжалостным смехом, убитых его равнодушием? И перед всеми он виноват. Возможно, он не знает, в чем именно виноват перед каждым, но это теперь и не столь важно.

Для Цветкова это была довольно странная идея. Но что-то в ней было. Что-то такое, что с первого раза трудно принять и вместить, но уж если принял и вместил, то это непременно станет частью тебя и сделает тебя другим...

Цветков вновь стоял перед дочерью (перед той самой еще недавно безразличной Цветкову селедкой), в волнении рассматривая ее и заставляя себя верить в то, что это его дочь. Та, не глядя на Цветкова, что-то напевала себе под нос, прижимая правую ладонь к худосочной груди. Только сейчас Цветков заметил эту ее ладонь, прижатую к сердцу. Пригнувшись к девице, он накрыл ее ладонь своей и осторожно сдвинул ее в сторону. Из груди селедки вырвался звук, похожий на стон, и Цветков увидел кро-воточающую рану.

Что-то пронзило его, что-то подобное физической боли: да, селедка — его дочь, потому что и у нее на сердце рана.

Он упал на колени, уткнулся лицом в ее равнодушную ладонь и заплакал. Цветков плакал впервые за многие годы.

Боль дочери, вернее, все то, что она должна была чувствовать с тех самых пор, как он подстрелил ее, вдруг открылась в нем раной. Это была не физическая боль. Эта боль была иного рода. Боль, которую невозможно унять уколом обезболивающего, потому что ее источник не внутри, а снаружи, потому что она нематериальна. Эта

боль чувствовалась каждой клеткой Цветкова. Даже больше — она была самим Цветковым и затихнуть, исчезнуть навсегда могла только в том случае, если бы Цветков исчез навсегда.

Нет, это было невысказано, это было невозможно.

Но это было.

Цветков протер глаза и повертел головой по сторонам. Он стоял посреди Дворцовой площади. Рядом с Александрийским столпом на шершавой и словно взбухшей после дождя брусчатке, напротив арки Главного штаба и колесницы над аркой... Стоял и не понимал, как здесь оказался. Площадь наводнили колясочники, сотни, может, тысячи колясочников, многие из которых, несмотря на крайнее истощение, яростно вращали колеса своих колясок, сталкиваясь друг с другом, сцепляясь рычагами и отчаянно пытаясь разехаться. Броуновское движение человеческой плоти, прикованной к никелированной стали. Лица колясочников, почти восковые, выражали страдание (капельки пота на лбу, скорбные морщины возле рта). Цветкову показалось, что эти люди по какой-то причине не могут, не имеют права сейчас жаловаться на судьбу, что им запрещено говорить о своих страданиях. Даже плакать они не имеют права.

Их все прибывало. Большими колесами и металлическими рычагами своих колясок они мяли, дробили друг другу бесчувственные конечности, постепенно спрессовываясь в один кусок плоти и стали.

Висящее над площадью молчание клубилось, как туча. Цветков вспомнил: именно здесь когда-то с пьяными криками, гиканьем и свистом приветствовала молодежь своих кумиров — заморских музыкантов. И он тогда был тут, чтобы написать репортаж. Как они напирала тогда, бесшабашные, полные радужных надежд, опьяненные молодостью, в обнимку с нарочито громко хохочущими девицами. Цветков узнавал их всех в лицо. Только теперь это были разрушенные недугом калеки. И все они ждали здесь чего-то для себя значительного и, возможно, совсем неутешительного.

Цветкова окликнули по имени. Незнакомый женский голос.

Цветков обернулся, и увидел девушку, и тут же понял, что это его дочь, с которой он должен встретиться завтра на железнодорожном вокзале. Выходит, приехала раньше? Но как она нашла Цветкова здесь?

Девушка кивнула ему и стала выбираться из толпы колясочников, напомнившей Цветкову стаю гигантской саранчи. Боясь задеть кого-нибудь из этих несчастных, он протискивался между колясочниками, ударяясь о металлические выступы колясок. Инвалидов становилось все больше: своими искореженными телами они запрудили подходы к площади. Продвигаться вперед становилось все трудней. В какой-то момент Цветкову пришло: если он сейчас не предпримет каких-то решительных действий, ему не выбраться из этой толпы.

С брезгливостью к трясущемуся, слюнявому уродству Цветков раздвигал коляски. Колясочников было слишком много для того, чтобы думать о страданиях кого-то одного из них. Идущая впереди девушка (Цветков теперь сомневался в том, что это его дочь — слишком уж не похожа на ту, что приезжала к нему просить денег на жизнь) постепенно удалялась, и в один момент он потерял ее из виду. И как только потерял, понял, насколько боится ее потерять. Устремляясь в сторону, где за мгновение до этого был виден ее силуэт, он, исполненный чего-то звериного, прыгнул на колени ближайшего калеки, своими туфлями расплющив его немые, вялые бедра. Колясочник обхватил его ноги и прижался к ним плоской грудью с такой силой, словно желал срастись с Цветковым и получить хоть немного его крови в свое высохшее тело. И Цвет-

ков узнал его. Это был тот самый неформал, которому он однажды раздавил грудь, а потом накормил пережеванным хлебом. Боясь увидеть лицо калеки, но более всего свет из его глаз, Цветков оторвал от себя его цепкие руки и побежал по плечам, головам, спинам несчастных калек. Прыгая с одного на другого, он несясь поверх толпы, никого не жалея. Он мял безвольные тела, месил плоть намертво сцепившихся друг с другом уродцев и ненавидел себя за это. Ненавидел и боялся, что кто-то из них сейчас вцепится в него, повалит на брусчатку, и после этого все они придвинут к нему свои страшные, исполненные светом страдания лица. И этот свет сожжет Цветкова.

Откинув от себя последних цеплявшихся за него колясочников, он увидел вдали силуэт девушки и прибавил ходу.

По пустынной улице навстречу Цветкову попала женщина с детскими санками. Алюминиевые полозья невыносимо скрипели по асфальту, но женщина, кажется, не слышала этого скрипа, потому что слушала что-то внутри себя. В санках она везла маленькую девочку. У ее болтавшейся из стороны в сторону головы не было лица. Его тело высохло, а одежда полужизнела. Цветкову было понятно, что эта девочка давно умерла.

Из подъезда одного из домов к женщине вышел старик с грязной бородой и стал торговаться с ней, брезгливо поглядывая на девочку. Женщина не хотела продавать старику девочку, но старик вдруг вырвал из рук женщины веревку и потащил сани в дом. Женщина осталась посреди улицы. Потом уже из дома послышался скрежет металлических полозьев о ступени, который все не прекращался. Можно было подумать, что подвальная лестница, по которой, видимо, спускался старик, имела сотни ступеней.

Из соседнего дома вышло одновременно несколько человек с безразличными лицами, и Цветков сразу узнал в них банду акционистов. Один из них — болезненно бледный — неожиданно крепко вцепился рукой в ворот рубашки Цветкова и потащил его в дом. Остальные бросились ему помогать. Цветков ударил бледного кулаком в грудь. Потом, не давая ему опомниться, ударил в лицо. Лицо бледного оказалось холодным и вялым, как у мертвеца. Бледный упал. Остальные, удивленные таким поворотом дела, отшатнулись от Цветкова, и тот пошел прочь. Захлопали двери парадных: справа и слева от Цветкова из домов выходили люди, много людей. И все они устремились к Цветкову. И только тут он вспомнил, зачем вдруг оказался здесь, в городе, и что должен сделать. Он должен попасть на Васильевский остров, с которого открывался выход к морю. Ведь море — это Цветков знал всегда — и есть свобода. Вот то главное, что сейчас понимал Цветков.

Он бежал по какому-то виадуку (откуда на Васильевском острове взялся виадук?) в сторону Гавани и неожиданно увидел внизу ту самую девушку (ну да, свою дочь), идущую по обочине нырявшей под виадук улицы. Оглянувшись на преследователей, те не отставали, Цветков, рискуя угодить под колеса летящих по проезжей части автомобилей, прыгнул вниз — туда, где только что шла девушка. Цветков вновь не сомневался в том, что та — его дочь. И еще ему хотелось верить, что дочь знает дорогу к морю. Сам он не узнавал в окружавших его кварталах родной Васильевский остров и путался в линиях и проспектах.

Незаметно улица сузилась до узкого коридора, вдруг перешедшего в темный, сырой лаз. Только вытянувшись в струнку, Цветков смог в него втиснуться. Стало мучительно душно, и Цветков, задыхаясь, был уже готов закричать что-то отчаянное. И тут он увидел море.

Море лежало мутным грязно-зеленым пластом за многоэтажным белым корпусом, отгороженным от улицы металлической решеткой с воротами, распахнутыми наружу, и лишь далеко на горизонте становилось лазурно-бирюзовым. Вдоль металли-

ческой ограды был выкопан канал, по которому сейчас бежал мутный поток. Попасть в ворота, за которыми Цветков надеялся выйти к морю, угадываемому за белым зданием, можно было только по перекидному мосту, который, казалось, мог с трудом выдержать человека. Возле ворот рядом с мостом стояли люди в медицинских халатах. Видимо, белое здание было больницей. Цветков видел ее впервые. Медработники издали улыбались Цветкову и приветливо махали ему руками — словно приглашали к себе. Но Цветкову не нужна была больница. Ему был нужен берег, за которым начиналась свобода.

Справа и слева от больничного корпуса высились крымские скалы (это не удивляло Цветкова) — более высокие, нежели корпус больницы. Там, где скалы отсутствовали, выход к морю закрывал многометровый бетонный забор. Так что если Цветков и мог каким-то образом попасть на берег, то лишь через какую-нибудь неприемную дверь больничного корпуса или через окно. Не могло быть такого, чтобы здесь не было выхода к морю.

Получалось, Цветков должен идти туда. Но в этом таилась какая-то опасность, Цветков чувствовал это.

На некотором отдалении от моста он разглядел остановку городского транспорта.

А что если уехать отсюда?

Но как же тогда его дочь?

И как тогда его свобода?

Поколебавшись, Цветков все же направился к остановке.

Табличка указывала на то, что здесь останавливается двадцать третий маршрут. Цветков прежде не слышал о таком маршруте. Ожидавшие автобус люди были сосредоточены. Среди них Цветков неожиданно для себя разглядел дочь. Та повернула к нему голову и чуть заметно кивнула.

— Автобус идет к морю? — спросил Цветков какую-то девчущку, проходя мимо нее.

С шерстяной шалью на плечах в клетчатом платье и с корзиной в руках, та ничего не ответила, только нахмурилась. Рядом с девчущкой сидела женщина — наверняка ее мать. Женщина тут же обняла девчущку, прижала ее к себе, заслоня от Цветкова и неприязненно глядя на него.

— А я, я доеду до моря на двадцать третьем? — не отступался Цветков.

Женщина неопределенно покачала головой, поднялась со скамьи и пошла прочь, взяв за руку девчущку. Отойдя от остановки несколько десятков шагов, обе они сели на землю у бетонного забора, из-за которого выглядывал край солнца. И тут же демонстративно отвернулись от Цветкова.

Цветков сел рядом со своей дочерью. Та о чем-то думала, и Цветков решил ее не беспокоить...

Уже довольно длительное время они томились на остановке в ожидании автобуса. Тем временем некоторые из сидящих рядом с ними на остановке, потеряв терпение, поднимались со скамьи, уныло брели к мосту, друг за другом переходили его. У ворот больницы их встречали медработники.

— Может, и мы пойдем туда? — спросил Цветков дочь, пытаясь заглянуть ей в лицо. И добавил шепотом: — Там наверняка есть выход к морю.

Дочь немного насмешливо уставилась на Цветкова. Цветков отвел глаза в сторону, вспомнив, как сначала изранил ее мать, а потом и самой ей отказал в деньгах на жизнь. Цветков чувствовал необходимость сейчас поговорить с дочерью и даже знал, о чем именно...

Вздохнув, девушка поднялась с места и молча пошла по мосту. Цветков последовал за ней.

У больничных ворот толпились люди. В основном женщины с детьми. У всех были объемистые сумки, вероятно, с вещами и продуктами — всем тем, что обычно приносят с собой пациенты больниц. Входя в ворота, люди испуганно улыбались докторам и медсестрам, словно не до конца верили в чудодейственную медицину и даже ждали от нее подвоха. Медработники же, напротив, кажется, были уверены в успехе лечения и потому принимали пациентов по-свойски: дружески похлопывая их по спинам, а то и с гагаринской улыбкой обнимая за плечи.

Когда все они (и Цветков с дочерью) оказались на больничном дворе, медики затворили ворота и повесили на них замок. Ключ от замка спрятал в карман доктор, самым удивительным в облике которого были плотные завитушки его волос. Они были словно из золота. Кроме того, на носу доктора сидели нелепые солнцезащитные очки.

— Я знаю этого доктора, — шепнул дочери Цветков. — Его зовут Ципкин. Будь с ним осторожна.

Конечно же, это был Ципкин! А кто еще, кроме этого дешевого провокатора, мог носить золотые волосы и темные очки?!

Тем временем златовласый доктор открыл дверь больничного корпуса и повел вновь прибывших вверх по лестнице.

Цветков с дочерью остались во дворе.

Здесь была разбита клумба с яркими цветами. Цветков подошел поближе к клумбе: при ближайшем рассмотрении цветы оказались тряпичными, пластмассовыми или бумажными.

Идти, кроме как в открытую дверь больничного корпуса, было некуда. Возле двери старуха санитарка терпеливо дожидалась, когда наконец в дверь войдут последние двое.

Цветков с дочерью направились к двери, и когда вошли в больничный корпус, старуха закрыла дверь, повернула в замке ключ и, сжав его в кулаке, исчезла под лестницей — там оказалась железная дверь.

На этажах этой больницы все было почти так, как в других больницах: белые коридоры с серым линолеумом полов и синюшными стенами и потолками, двери палат и процедурных, операционных, фикусы в кадках. Единственное, что удивляло — обилие раскладушек в коридорах. На раскладушках лежали пациенты. Создавалось впечатление, что все они недавно прооперированы: их лица были бледны, грудь и головы многих были забинтованы. Лежали здесь и дети, и взрослые. Кое-где взрослые лежали вместе с детьми и шепотом успокаивали последних, осторожно гладили их по голове. Попадались тут и такие, что лежали на раскладушках в верхней одежде и обуви, глядя на дверь операционной. Эти наверняка ждали операции.

К Цветкову подошел верзила в белом халате, готовом лопнуть на его жирных плечах. Цветков взгляделся в него и узнал... своего лагерного дружка Петроченко. С круглым лицом и плаксивыми глазами, посаженными у самого носа, Петроченко сделал вид, что не знает Цветкова. В руке Петроченко сжимал сосуд с жидкостью, совсем непохожий на бутылку от лимонада «Буратино». Верхняя часть сосуда представляла собой стеклянную иглу, изогнутую под прямым углом к нижней части. На острие стеклянной иглы набрякла маслянистая капля.

— Ваша очередь, — прогундосил Петроченко и поднес к глазам Цветкова иглу.

— Нет, — рявкнул Цветков, отводя руку вероломного предателя, — не сейчас.

Петроченко растерянно пожал плечами и подошел к матери с дочерью — тех самых, у которых Цветков пытался выяснить, куда идет двадцать третий маршрут. Мать

не собиралась отдавать свою дочь Петроченке, что-то ему доказывала, но тот вдруг уколол женщину в глаз острием сосуда, и та, отшатнувшись, выпустила дочь из рук. Петроченко повел упирающуюся девочку в операционную, а женщина, вытащив носовой платок, приложила его к слезящемуся глазу и стала ждать возвращения дочери.

— Пойдем отсюда, — шепнул Цветков дочери.

— Куда?

— Выход должен быть, — шепнул ей Цветков, и они отправились вперед по коридору к его дальнему концу.

— Куда собрались? — воскликнула старуха санитарка, возникшая у них на пути.

— На другой этаж, — ответил Цветков. — Где тут лестница?

— Другого этажа нет, — произнесла старуха. — Возвращайтесь и ждите своей очереди.

Действительно, лестница в конце коридора не обнаружилась.

Но ведь она была! По ней Цветков с дочерью поднялись сюда.

Вместо лестницы Цветков увидел еще один коридор, ведущий куда-то в глубь этажа. Увлекая за собой дочь, он бросился туда, распахивая попадавшиеся на пути двери и обнаруживая за ними все новые коридоры. Цветков ждал погони, топот ног за спиной; чувствовал, что их с дочерью уже ищут. И нигде не было ни окошка, чтобы понять, в какую сторону им бежать. В коридорах было пусто. Лишь однажды на пути у них выросла все та же старуха санитарка, пытаясь загородить им путь, но Цветков наотмашь ударил старуху по лицу, и та, взвизгнув, прижалась к стене.

Лестницу они так и не обнаружили и странным образом вернулись туда, откуда бежали — в основной коридор, где, кажется, все пациенты были уже прооперированы. Из операционной выводили последних, осторожно поддерживая их. Прооперированные — те самые люди с остановки, — с широко раскрытыми глазами, ошеломленные, потрясенные и, кажется, сломленные, осторожно ступали по полу. Они не кричали, даже не стонали. Смертельно бледные, они смотрели перед собой, словно ища место, где им можно было бы сжаться в комок и перетерпеть то, что творилось у них сейчас внутри.

Самой последней вывели девочку с остановки.

Ее платье было расстегнуто на спине: спина была перебинтована. Девочка кусала губы и смотрела на свои руки, за которые ее держали медсестры.

— Что они там с ними делают? — шепотом спросил Цветков дочь.

— Разве ты не знаешь что? — дочь выразительно посмотрела на него.

Из операционной вышел Петроченко вместе со златовласым Ципкиным. На последнем был фартук. Петроченко молча указал Ципкину на Цветкова, и Цветков понял, что теперь Петроченко непременно отомстит ему за свой разбитый нос.

— Где тут туалет? — как можно спокойнее произнес Цветков, обращаясь к медсестрам, ведущим по коридору прооперированную девочку.

Одна из них кивнула в сторону ближайшей двери. Цветков открыл ее. За ней оказался туалет с умывальником, и под самым потолком здесь светилось окно. Набросив щеколду на дверь, Цветков попробовал открыть окно. В коридоре началось движение, и в дверь уже стучали.

Оконный проем был довольно узким. Едва Цветков начал протискиваться в него, как вспомнил о дочери, оставшейся в коридоре. Однако же нет, та стояла рядом с ним на подоконнике, и Цветков облегченно выдохнул. Он все никак не мог протиснуться. А его дочь сделала это с легкостью. Дверь уже выламывали. Дочь стояла на карнизе и, кажется, не знала, что ей делать дальше. Цветков устремился к дочери, и не понял

как оказался на карнизе рядом с ней. Метрах в пяти ниже выступал козырек еще одной крыши. Цветкову было не страшно прыгать вниз. Но его дочь? Однако та прыгнула прежде, чем Цветков задал ей этот вопрос. Цветков зажмурился; если дочь сломает себе ноги, он не оставит ее — понесет на себе. Но сначала крепко обнимет, чтобы немного заглушить ее боль, и скажет, что отныне он навсегда с ней, что он ее больше никогда не бросит... Дочь стояла внизу, на козырьке и смотрела на него. Цветков прыгнул, крыша мягко спружинила под его ногами, и он оказался рядом с дочерью. Однако ниже оказалась еще одна крыша. И он прыгнул еще раз. Дочь прыгнула следом. Но и эта крыша была не последней. И им опять пришлось прыгать...

Во время этих прыжков Цветков заметил узкий пролом в бетонном заборе, сразу за грязной мусорной кучей.

И вот еще что удивило Цветкова: на фасаде больницы не было ни окон, ни дверей. При этом само здание было изогнуто петлей и замкнуто само на себя, вероятно, для того, чтобы у пациентов не было пути назад. Однако где-то обязательно должна была находиться та дверь, через которую они попали в это здание.

Они приземлился в ту самую клумбу с искусственными цветами. И теперь оба вжимались в землю, поскольку во дворе появилась старуха санитарка. Покрутив головой по сторонам, старуха вдруг отодвинула часть стены, оказавшейся ширмой, за которой пряталась входная дверь.

Цветков с дочерью не шевелились, и, похоже, никто из появлявшихся то и дело во дворе медработников не замечал их. Однако лежать на земле без движения можно было сколь угодно долго: на больничном дворе все время появлялись какие-то люди. Нужно было действовать. Выбрав момент, когда двор на мгновение опустел, Цветков, увлекая за собой дочь, бросился в конец больничного двора, к куче мусора, состоящей из старых простыней, халатов, использованных бинтов и шприцев и еще чего-то упакованного в черные пластиковые мешки, рядом с которыми валялись рваные сапоги на толстой подошве и куртки-косухи с заржавевшими заклепками.

«Значит, их все же нашли там, у стены, в кучах прелой листвы...» — промелькнуло в голове Цветкова.

Однако сейчас ему было не до душевных терзаний.

Протиснувшись в пролом забора, они оказались во дворе возле деревянного барака. Кто-то грузный, обрюзгший, с красной блестящей физиономией, в замасленной спецовке возился там с мотором старого ЗИЛа.

— Отвезите нас к морю! — с этими словами Цветков бросился к красномордому и, когда тот обернулся, узнал в нем Ципкина.

Это было абсолютно невозможно, поскольку Ципкин остался там, за бетонным забором, в роли златовласого доктора.

Может, красномордый мужик не Ципкин?

И потом, каким образом Цветков разглядел в этом совсем непохожем на Ципкина человеке Ципкина?!

А по глумливой ухмылке. Так ухмыляться мог только один человек на планете.

— Бесплатно? — спросил Ципкин.

— У нас нет денег, но я... отдам вам свои французские туфли. Лакированные! — Цветков изо всех сил делал вид, что не узнал в краснорожем Ципкина.

— Только они, сами знаете, армянские, — произнес красномордый, разглядывая туфлю, протянутую ему Цветковым. Потом добавил, уже шепотом: — Хотите сбежать?

Послышался топот ног, Цветков оглянулся и увидел спешащих к ним медработников, впереди всех бежал Петроченко.

— Умоляю вас! — крикнул Цветков, обращаясь к красномордому.

Еще немного повертев туфлю в руках, тот бросил ее в кузов грузовика, влез в кабину и кивком головы указал беглецам на место рядом.

Едва Цветков с дочерью влезли в кабину, взревел мотор, и ЗИЛ рванул с места. То и дело, резко поворачивая и лишь чудом не врезаясь в стены, они летели по лабиринту проходных дворов Васильевского острова.

ЗИЛ все прибавлял скорости, но и погоня, возглавляемая Петроченко, не отставала, все время сидела у беглецов на хвосте. Цветков неожиданно понял, что ЗИЛ крутится в пределах одного квартала. При этом краснорожий водитель без остановки скалил зубы. Провоцировать, вводить в заблуждение, обнадеживать, а потом разом лишать надежды всегда доставляло Ципкину наслаждение. И сейчас Цветков был уверен в том, что Ципкин просто издевается над ним и дочерью, забавляется их страхом, играет их жизнями. Это был очередной перформанс Ципкина. Цветков готов был уже вцепиться краснорожему в горло. Видимо, почувствовав это, тот направил грузовик по проспекту, перестав кружить по проходным дворам квартала. На пути ЗИЛа стали попадаться огромные, отшлифованные дождем и ветром валуны и какие-то скальные выступы, проросшие костлявым, безлистным кустарником. Море было где-то рядом...

Не жалея грузовика, Ципкин направлял его прямо на валуны, на которые ЗИЛ взбирался, скрипя шинами, и потом буквально срывался вниз, так что Цветкову хотелось зажмуриться. Однако грузовик всякий раз мягко приземлялся и продолжал движение. Погоня позади них распалась на отдельные группы. Медработники не знали усталости.

Наконец ЗИЛ выкатился на берег, и Цветков увидел море.

Оно было мутным и неподвижным. Цветкову даже показалось, что оно такое же искусственное, как цветы на больничной клумбе. И все же, по крайней мере на горизонте, море было настоящим. Но туда нужно было еще добраться.

Грузовик уже по колеса погрузился в воду, напрягаясь и кашляя. И тут его мотор заглох.

С издевательской улыбкой краснорожий смотрел на растерянного Цветкова, а невесть откуда взявшийся здесь Петроченко уже лез в кузов ЗИЛа. Да и остальные преследователи были тут как тут. По грудь в вязкой воде они брали заглохший ЗИЛ в кольцо.

— А где вторая туфля? — обратился Ципкин к Цветкову, едва сдерживая рвущийся из глотки хохот. — Вы обещали!

Туфли на ноге Цветкова не оказалось.

Что-то Цветков должен был сейчас вспомнить. Что-то важное.

И вспомнил. Вспомнил, что стоящая рядом с ним дочь завтра должна прибыть на Московский вокзал, где Цветков встретит ее. Чтобы отныне они — отец и дочь — жили одной семьей.

Но чтобы завтра прибыть на Московский вокзал, дочь должна была сейчас вырваться из окружения и добраться до открытого моря. Там были свобода и возможность сесть в поезд и приехать на Московский вокзал.

Цветков притянул к себе дочь и шепнул ей: «Плыви!» После этого бросил ее, словно куклу, в вязкую, как масло, воду. Дочь тут же поплыла.

Медработники устремились за ней, но на пути у каждого из них выросла Цветков и топил их, как котят. В какой-то момент под руку ему попался Петроченко. У Петроченко из носа текла кровь; он растянул губы, чтобы гнусаво заплакать, и Цветков не стал топить Петроченко. Ему вдруг стало жаль такого нескладного, трусливого, не умеющего до конца быть другом Петроченко.

И тут же Цветкова подхватило быстрое течение и понесло назад к берегу.

— От себя не сбежишь! — крикнул ему вдогонку Ципкин.

Течение уже несло Цветкова по каналу, тому самому, что протекал вдоль больницы ограда, и как раз — к воротам, через которые он попал на территорию больницы. Еще издали заметив плывущего к ним Цветкова, медработники бросились открывать их.

Цветков обернулся. Дочь была уже далеко — возле покатых морских волн. Над водой то показывалась, то вновь исчезала ее голова. Море вдали было бирюзового цвета, и ветер носился по вершинам волн, срывая с них барашки. Преследователи небольшими группами стояли на дальних валунах, уже не пытаясь схватить беглянку, которой до синевы оставалось совсем немного.

Цветков с разгона уперся во что-то твердое — это был мост, ведущий к воротам больницы. Круг замкнулся. Можно было выть от отчаяния. Однако Цветков думал о том, что дочери должно хватить сил доплыть до свободы. Так что когда его, крепко взяв за руки, вели к воротам, он улыбался, счастливый.

И Цветков опять стоял возле пожарной лестницы, вцепившись руками в металлическую ступеньку.

Что это было? Он опять спал?

Цветков чувствовал в себе растущую решимость немедленно выбраться отсюда. Он будет подниматься по этой ненадежной лестнице, даже рискуя свернуть себе шею.

Но к чему этот риск?

Как к чему?!

Он должен успеть на Московский вокзал к прибытию поезда, на котором приезжает его взрослая дочь просить у него денег. Конечно, у него нет тех денег, которые нужны дочери. Но у него есть взрослая дочь, которой нужны деньги.

Еще вчера ему было безразлично, есть у него дочь или нет, он даже не помнил о ней. Теперь же, после всего, что произошло с ним, она стала ему нужна, возможно, нужнее всего на свете, потому что, сама того не зная, внесла в его безнадежную жизнь надежду, наполнила ее, пустую, содержанием. В жизни Цветкова появился смысл: он должен встретить дочь, чтобы сказать ей, что у него есть теперь смысл жить дальше. И даже если она не захочет его слушать и, смертельно обиженная, развернется, чтобы исчезнуть из его жизни, он не махнет на нее рукой, не крикнет ей вслед что-то оскорбительное, но умолит ее верить ему. И она обязательно поверит ему, и они пойдут по Невскому проспекту к Дворцовому мосту. Цветков будет рассказывать ей что-то о себе, а она, уже успокоившись, будет его слушать. А может, и заплачет, прижмется к его плечу, а он обнимет ее за плечи и... и...

Цветков едва не задохнулся, поняв, насколько это ему важно.

Все отчетливей, все сильнее чувствовал он в себе что-то пронзительное и хрупкое, и понимал, насколько дочь важна ему, и верил, что любит ее. Не так, как всегда любил женщин, а так, как любят солнце, вдруг выглянувшее из-за тяжелых туч. И это чувство, эта прежде неведомая ему любовь росла в нем вверх и вширь. Переполняя его, она рвалась наружу, и вокруг Цветкова голубовато светился воздух. Хотя это, возможно, ему только казалось. Нет, он не имел права опоздать к поезду. Теперь бы он умер, если б не встретил дочь на Московском вокзале.

Здрав голову, Цветков смотрел на квадрат проема: грохот наверху смолк, и можно было начинать подъем.

Но встать сейчас даже на первую ступеньку показалось Цветкову невыполнимой задачей. Его левая рука висела плетью вдоль туловища и отказывалась слушаться.

Он взглянул на нее. Откуда у него этот «Ролекс» на запястье? Ах да, как он мог забыть: у него всегда были эти часы, просто сейчас ему не вспомнить, когда и по какому случаю приобрел их.

Нет, с ними ему не взобраться по лестнице.

«Расстаться с любимыми часами?!» — подумал Цветков и тут же вспомнил слова мужчины, которого встретил здесь, жалующегося на то, как трудно избавиться от чего-то своего, даже от сущего пустяка. Ведь пустяк, к которому ты привык, с которым сросся, давно стал частью тебя...

«Пустяк стал частью Цветкова?» — усмехнулся Цветков.

Это было унижительно. Но это была чистая правда. Цветков чувствовал, что ни одна мелочь из его жизни так просто не отпустит его.

Сначала он не без душевных усилий расстался с «Ролексом» — аккуратно положил часы на пол у стены, потом принялся вынимать из карманов все, что там было, и бросать на пол. И все казалось ему дорогим, памятным и позарез необходимым.

На пол летели морская ракушка (та самая, которую нашел тот мужчина и сказал, что это его ракушка, хотя она всегда была ракушкой Цветкова, привезенной им в детстве из Крыма), потертая запонка — вовсе не золотая, рогатка с пригоршней алюминиевых пулек, лимонадная бутылка из-под ягодной настойки... Но и этих жертв было недостаточно. Чтобы осилить подъем, Цветков должен был оставить здесь... свой кожаный портфель, вдруг обнаруженный Цветковым у себя на плече, болтающимся на кожаном ремешке.

«Разве это мой портфель? — удивился Цветков. — Разве он не принадлежит тому мужчине? Мы вместе с ним искали его. И вот его портфель оказался моим? Но я точно знаю, что это мой портфель, я прекрасно его помню...»

Действительно, все в портфеле — и фотографии, и квитанции, и дипломы с грамотами, и оплаченные квитанции услуг ЖКХ за три года внутри, и даже повестка в суд — принадлежало Цветкову. По крайней мере, на фотографиях был Цветков. Да и на бумажках стояла его фамилия.

Нет, что-то во всем этом было не так, как должно быть, как было всегда. Что-то не складывалось. Существовало какое-то вопиющее несоответствие формы содержанию, чудовищная нестыковка между частями одного целого, и бездна зияла между сторонами одной медали.

Цветков словно раздвоился внутри себя.

Он поставил на пол портфель, но и от этого легче ему не стало.

Тогда Цветков сбросил с себя замшевую куртку, ту самую, любимую, которую он искал тут и которая, оказывается, все это время была на нем. И все равно ему не хватало сил и воздуха для подъема по лестнице. Цветков расстегнул пуговицы на груди. И только сейчас заметил, что на нем малиновый пиджак — тот, который был на мужчине. «А под малиновым пиджаком наверняка — зеленый!» — подумал Цветков, хотя зеленого пиджака у Цветкова никогда не было.

Так и есть: зеленый пиджак был на нем!

Он сбросил с себя оба пиджака и с трудом, словно кто-то висел у него на плечах, одолел несколько ступеней. Значит, дело было не только в дорогих ему вещах. Значит, оставалось еще что-то до сих пор незаметное, но неподъемное. Только не в карманах, а где-то внутри самого Цветкова.

Цветков вдруг испугался.

«Я должен оставить всего себя здесь? Но с чем же я тогда явлюсь туда?!»

Нужно было продолжать подъем, не глядя вниз и не останавливаясь. Потому что если остановишься и посмотришь вниз, наверняка увидишь то, что оставляешь. Нель-

зя было думать о том, что оставляешь здесь, потому что эти мысли непременно вернули бы его назад — к тому, без чего ему, казалось, не жить.

Не жить без морской раковины?

Но это же смешно. Какая-то пустяк!

«Пустяк? А подумай о нем, и твои мысли против воли останутся с этим пустяком и не отпустят тебя отсюда...»

Наверху было тихо. Свод не содрогался, не прогибался под невыносимой тяжестью, не гудел уставшим металлом, низвергая вниз снопы ослепительных искр.

Цветков вновь поднимался. Шаг за шагом, ступень за ступенью, преодолевая сомнения и хаос, в который превращались в его голове строгие прежде мысли. Он уже ничего не понимал ни в себе, ни в том, что составляло окружающую действительность.

Он задыхался, но подъем нельзя было прекращать, нельзя было смотреть вниз. Почему нельзя — он уже не помнил. И лишь верил в то, что, если сейчас остановится, не случится что-то самое главное в его жизни и что-то важное сломается в нем навсегда.

И тут до него дошло, что подниматься сейчас вверх для него важнее, чем вещи, которые он оставлял внизу. Важнее, чем его память, пытавшаяся оставить его с этими вещами, чаяниями, грезами.

Стараясь не смотреть вниз, он втиснулся в проем. Голова и плечи Цветкова уже находились в туннеле, в дальнем конце которого вдруг родился и постепенно нарастал железный грохот. Чтобы влезть в туннель целиком, Цветкову нужно было подтянуться на руках. Но сил на это не хватало, и он отчаянно дрыгал ногами, думая, что сейчас сорвется вниз.

В конце туннеля вдруг возникла полоска света, которая росла вместе с летящим сюда железным скрежетом. Если Цветков не сорвется сейчас вниз, то тогда летящее на него с грохотом железо неминуемо раздавит его. И в голове Цветкова завертелось: он угодил в западню, специально подстроенную для него. И все то, что произошло с ним сегодня, — чей-то жестокий спектакль.

И все же он чувствовал какую-то недосказанность сюжета.

Ах да! Его дочь завтра вечером будет ждать его на перроне вокзала. Будет стоять у края платформы, с надеждой заглядывая в лицо каждому проходящему мимо мужчине до тех пор, пока не поймет, что отец ее обманул. И тогда она подумает, что эта жизнь ей больше не нужна, поскольку сама она никому в этой жизни не нужна. Подумает и совершит какую-нибудь страшную, непоправимую ошибку. И он, ее отец, не сможет, прежде чем она решится на это, закричать ей: «Не смей, ты мне нужна!»

И когда он это подумал, когда представил себе дочь, совершающую что-то страшное и непоправимое, все, что прежде было ему дорого в его жизни, что он ждал от жизни, на что надеялся, стало вдруг ничтожным в сравнении с тем чувством, которое он испытывал сейчас. Если б у него была сейчас возможность заплатить за жизнь дочери своей жизнью, он сделал бы это, не задумываясь. И стал счастливым. Пусть даже на один, последний миг своей жизни.

И это чувство, которое он испытывал сейчас, этот его порыв заплатить за жизнь дочери своей жизнью — все это вдруг вспыхнуло в Цветкове и запылало больно и радостно. И все существо Цветкова вдруг превратилось в этот крик: «Не смей, ты мне нужна!»

И едва превратилось, Цветков почувствовал, как чьи-то сильные руки схватили его за щиколотки и потянули вниз. Цветков посмотрел себе под ноги и увидел того, кто пытался вытянуть его из проема назад, по сути, спасти от неминуемой смерти.

Это был тот самый человек, имя которого он все время пытался вспомнить. Тот стоял на ступеньке, привалившись грудью к лестнице и вцепившись Цветкову в ноги. Через плечо у него был перекинут ремешок портфеля, оставленного Цветковым внизу, и пиджаки Цветкова были на нем, а из-под них торчала замшевая куртка Цветкова. И конечно же, «Ролекс» был у него на запястье, а в карманах — ракушка, запонка, рюмка с алюминиевыми пульками, бутылка из-под малиновой настойки... Цветков понял, что все то, что он оставил внизу, все время следовало за ним. И вот когда он собрался навсегда избавиться от всего этого, оно насмерть схватило его, чтобы, может, и спасти от неминуемой смерти (железный грохот и свет были уже совсем близко), но не отпустить его отсюда. И вот еще что: Цветков наконец узнал этого человека — именно он взирал на Цветкова по утрам из зеркала.

Спасать свою жизнь было поздно. К тому же теперь Цветков боялся в жизни лишь одного: не успеть крикнуть своей дочери «Ты мне нужна!».

Руки Цветкова вдруг напряглись так, что жилы на них взбухли и посинели. И Цветков, опаленный изнутри вдруг открывшейся в нем, как рана, жалостью, вырвался из цепких ладоней прежнего Цветкова. Вырвался и выскочил из проема навстречу летящему на него свету — тому самому, нестерпимому.

Голый Ципкин развалился на диване, играя ухмылкой на тонких губах. Лежал, отбросив одеяло в сторону, и наблюдал за худощавой, молочно-белой девицей, абсолютно голой, стоящей у окна с сигаретой в зубах. Девица что-то разглядывала за окном во дворе. Ципкин тоже был с сигаретой в зубах, и это было ему в диковинку. Буквально на днях его соблазнил пряный дым сигареты этой девицы. Ципкин попробовал дым на вкус и решил курить, правда, не взятяжку сигареты этой девицы.

— Как там твои презервативы, Ципкин? Подписал контракт с «Треугольником»? — спросила девица, не оборачиваясь и все так же высматривая что-то во дворе.

— С «Красным треугольником», милка моя. Изделие номер четыре — многоразовые презервативы «Яма». Неплохо звучит, а? Теперь у каждого порядочного мужчины будет в кармане моя «Яма» — гениальное полотно, правда, уменьшенное до размеров массового потребления. Вот так и приходит к художнику слава! — Ципкин делано захохотал, потом закашлялся — проглотил кусачий сигаретный дым. — Жаль, что твой Цветков не знает об этом. Узнал бы, непременно написал бы в какой-нибудь газетенке что-нибудь похабное про меня. Из зависти, конечно. А по мне — хоть похабное, лишь бы обо мне.

Ципкин оторвался от созерцания голой девицы у окна и, уставившись в потолок, занялся математическим перемножением предполагаемого числа изготовленных «Красным треугольником» презервативов на стоимость одного такого изделия и на свой процент от стоимости. И пока рассчитывал, без остановки ухмылялся.

— Знаешь, Ципкин, я сегодня пойду к нему.

— Ты же на прошлой неделе была? Зачем он тебе? Он все равно тебя не узнает.

— Но мне кажется, что я ему нужна. Вернее, была бы нужна, если бы он...

— Не был овощем? Ему и без тебя хорошо.

— Скажи, Ципкин, ты действительно нес его на себе под землей три километра?

— Может, и три километра, а может, и сто метров. Точно не скажу. Когда его шарахнуло, я чуть с ума не сошел, глядя, как он трясется, словно на электрическом стуле. Едва его тогда от оголенного провода оторвал. Ну и потащил. Куда было деваться? Если б не вынес твоего Цветкова, не вызвал «скорую», его смерть на меня бы повесили. Телевизионщики-то знали, что мы под землей вдвоем остались. Хорошо, еще врачи

ментам подтвердили, что твоего папеньку током ударило. Эх, милка, чем дольше твой Цветков будет овощем, тем меньше у нас с тобой будет проблем. Возможно, он останется таким до смерти. А вот когда его не станет...

— Ты уберешься из этой квартиры. И я тоже, поскольку тут же объявятся какие-нибудь дальние родственники, чтобы захватить эту жилплощадь. Не хочу об этом говорить. Кстати, Ципкин, как ты тогда узнал, что я приезжаю в Питер?

— Я ж тебе говорил: он сам сообщил. Пока я его тащил, он все бредил, мол, дочь приезжает на Московский вокзал, и номер поезда называл. Ну и я как человек ответственный решил встретить дочь несчастного на вокзале и... утешить, — тут Ципкин громко и ожесточенно захохотал, поскольку девица после его последнего в этой фразе слова вдруг резко развернулась к нему, намереваясь изречь в его адрес что-то нелюбезное, но так и не открыв рта, — пробиться сквозь этот хохот у нее не было никакой возможности, — вновь отвернулась к окну. — А перед тем, как сдать его санитарам, я позаимствовал у него ключи от квартиры. Надо же было тебе где-то остановиться! Отвести тебя к себе, сама понимаешь, я не мог, — на этот раз Ципкин лишь хохотнул.

— Ципкин, твой сын действительно даун? — спросила девица.

— Не вполне...

— Ты хоть деньги-то его матери даешь? — На этот вопрос Ципкин, плотно сжав губы, отказался отвечать. Девица решила сменить тему: — Ладно, не дуйся. Скажи, ты и в самом деле голым по улице ходил и еще кучу наложил у депутатского входа?

— Во-первых, не голым, а в перьях, во-вторых, не по улице, а по проспекту. И в-третьих, ту мою кучу Музей современных искусств сейчас выставляет как арт-объект, — заметил Ципкин. — Думаешь, было просто на это решиться? Но чего не сделаешь ради чистого искусства! — и Ципкин вновь захохотал.

Девица видела, что разговор Ципкину неприятен и этим своим смехом он защищает уязвленное самолюбие. И она вновь сменила тему.

— Скажи, как ты меня тогда на вокзале вычислил? Как понял, что я — это я?

— А чего тебя было вычислять, когда только ты одна на перроне и осталась... Я вот о чем думаю: вдруг кому-то придет в голову проверить твой паспорт? В больнице ты кем назвалась, просто родственницей? Может, и для остальных тебе лучше быть просто родственницей, а не дочерью. Насколько я знаю, Цветков никогда не был женат. Значит, и детей у него нет, официальных разумеется.

— А мне хочется быть его дочерью, Ципкин, мне хочется иметь отца. Как бы я желала, чтобы он волновался, не находил себе места, когда меня поздно вечером нет дома. И я была бы счастлива, если б он потом даже кричал на меня... Я ехала к нему как к успешному человеку, знающему в жизни все входы и выходы, хотела, чтобы он ввел меня в круг своих друзей. То есть, как я теперь понимаю, таких же циничных и хитрожопых, как ты, Ципкин. Ну и развратных, как водится. Последнее мне уже не могло навредить. Я готова была приноравливаться, подлаживаться и изображать все, что от меня требуется. И вот все, что я желала, произошло в моей жизни бесплатно и без участия отца. Как-то само собой произошло. Я теперь с твоей подачи — художник. У меня берут интервью, и я зарабатываю деньги своими, то есть твоими перформансами. И ведь никаких усилий от меня не требуется. Все само собой. Почему, Ципкин?

— Потому, милка моя, что только подлинное дается трудами и лишениями, а фальшивое, как, скажем, твоя теперешняя жизнь или мои творения, само идет в руки.

— То есть я фальшивая и ты фальшивый?

— Ты и сама это знаешь. И тебя это устраивает.

— Вполне... Знаешь, когда Цветков открывает глаза, в них такой свет, что смотреть невозможно.

— А ты не смотри. Представляешь, он вдруг придет в себя и заявит, что у него нет дочери, что ты самозванка. Что тогда делать будешь?

— Он не откажется. Я это чувствую. Он ведь и в бреду помнил о моем приезде.

— Ну да, помнил, — Ципкин вздохнул. — Конечно, сходи к нему, если так хочется. В конце концов, должна же ты проявлять дочернюю любовь. А то попросят нас из этой квартиры. А жить с тобой в съемной я не потяну даже со своими презервативами!

Свет лез из-под век Цветкова наружу, и Цветков больше не мог ему сопротивляться.

Цветков открыл глаза, но сознание не вернуло ему реальность. В Цветкове теперь жила одна только тревога о дочери, только мольба о ней, только желание отдать свою жизнь за ее жизнь, если, конечно, ему посчастливится это. Он все еще должен был успеть встретить ее на вокзале.

Всякий раз теперь, когда Цветков открывал глаза, он кричал о том, что ему нужно на вокзал, иначе его дочь подумает, что он ее обманул. Однако этот крик звучал лишь внутри Цветкова. Язык не слушался Цветкова.

Цветков не понимал, что лежит в кровати, не знал, что от него к приборам на столе тянутся трубки, не видел, что возле него на стуле сидит девушка в белом халате, накинутом на плечи, которая, едва он открыл глаза, тут же дежурно улыбнулась. Над ее левой бровью был шрам, такой же был возле ее рта. Запястье девушки также пересекал тонкий нежно-розовый рубец.

Девушке вдруг показалось, что Цветков что-то говорит, и она склонилась над ним. Однако Цветков лишь мычал. Посидев еще немного возле Цветкова, девушка поднялась со стула и вышла из палаты в коридор.

Навстречу ей двигалась старуха санитарка.

— Как он? — настороженно спросила она девушку, поравнявшись с ней.

— Плачет, — ответила та.

— Сколько же у него слез внутри! — воскликнула санитарка и покачала головой. — Как ни зайду к нему, он все плачет. И глаза такие, что больно смотреть.

Девушка согласно кивнула, потом улыбнулась санитарке совсем по-детски и спросила:

— А он действительно журналист Цветков?

— А кто его знает. По документам Цветков. Спросить-то его самого об этом невозможно. Сами видите, что он такое... — произнесла санитарка.

Цветков смотрел в темноту, и слезы против воли катились по его щекам. Еще недавно он мог кому угодно доказать, что слезы мужчины — от расшатанных нервов, что они — лишь постыдная с точки зрения делового человека слабость. Теперь же, если бы вдруг обрел способность рассуждать, промолчал бы по этому поводу, прикусив себе язык.

Ничего не осталось в нынешнем Цветкове, кроме нестерпимого света, которым стала его непрерывная, как заевшая виниловая пластинка, мольба о дочери. Все выжгла в нем его последняя болезнь, которой он прежде не ведал, которая, как он всегда считал, только мешает человеку жить, правильно и прибыльно существовать на этой земле. Но как ни странно, только она одна теперь держала Цветкова на плаву, не позволяя ему и на пороге смерти отречься от чего-то в себе самого важного. Нынешний Цветков уже знал, по крайней мере, не смог бы не согласиться с тем утверждением, что только эта болезнь может отправить человека на смерть ради жизни другого человека. И что она всегда отнимает у человека жизнь только для того, чтобы вручить ему вечность.

И эту свою последнюю болезнь Цветков когда-то, усмехаясь, называл любовью.

Какой все же счастливчик Цветков!

Скоро он умрет — уберется отсюда на Луну или еще куда подальше, полный света, того самого, нестерпимого для глаз.

И за что ему от Спасителя такая милость?

Чем он заслужил свое спасительное сумасшествие?

Ведь никаких громких подвигов за ним не числится, даже благородных поступков в его биографии не отыскать. А вот лежит он сейчас в больнице, плачет и светится изнутри. И уже совсем скоро, весь — сплошной свет, полетит отсюда к свету, чтобы отныне только сиять нестерпимо своей любовью.

Такой счастливый конец даже Ципкину не повредил бы. Но боюсь, Ципкин свою яркую жизнь завершит с тьмой внутри и, значит, отправится после этого увлекательного спектакля прямиком во тьму, чтобы отныне быть лишь непроглядной тьмой. Почему? Потому что Ципкин лучше других знает, что человеку хорошо, а что плохо, что ему губительно, а что спасительно, знает и все равно продолжает ловить рыбку в мутной воде. Хотя, думаю, у Спасителя и на Ципкина хватит любви, и устроит Он Ципкину, например, автокатастрофу и усадит Ципкина в инвалидную коляску лет на тридцать — вплоть до самой ципкинской смерти. Ведь устроил же Он подобную штуку акционисту-колясочнику?! И как тот теперь ни хохочет, как ни прикидывается на людях счастливчиком и пофигистом, внутри у него каждый день болит, и слезы льются из него сами собой, когда никто из людей этого не видит, и в нем живет свет, тот самый, нестерпимый.

Ну, а дочь Цветкова, которая, может, вовсе не его дочь?

О ней можно не беспокоиться. Как сказал один афонский монах другому, стоящему на берегу и переживающему за моряков утлого суденышка, которое никак не могло пристать к берегу по причине лютого шторма: «Не плачь, брат. Все они уже спасены твоим любящим сердцем...»

Так примерно сказал и оказался прав.